

Михаил Черкасский



**СЕГОДНЯ И ЗАВТРА,
И В ДЕНЬ МОЕЙ СМЕРТИ**

Хроника одного года

Михаил Черкасский

**Сегодня и завтра, и в день моей
смерти. Хроника одного года**

«Издательские решения»

Черкасский М.

Сегодня и завтра, и в день моей смерти. Хроника одного года /
М. Черкасский — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-857377-4

**НЕЗАКОННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ,
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ АНАЛОГОВ ПРИЧИНЯЕТ
ВРЕД ЗДОРОВЬЮ, ИХ НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ЗАПРЕЩЕН
И ВЛЕЧЕТ УСТАНОВЛЕННУЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ**

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. «Принявшись за чтение рукописи М. Черкасского, я начал, по обыкновению, делать „заметки на полях“. Но вскоре оказался настолько захваченным чувством автора, атмосферой этого сочинения — единственного в своем роде, — что так и вышел из чтения потрясенным, как будто пережил собственное горе. За примером, аналогией я, честное слово, не знаю, к чему обратиться. Может быть, примеры этого рода литературы можно найти у Солженицына или Шаламова...» Из рецензии Глеба Горышина.

ISBN 978-5-44-857377-4

© Черкасский М.
© Издательские решения

Содержание

Предисловие 2017 года	6
Часть первая	10
Часть вторая	27
Часть третья	39
Конец ознакомительного фрагмента.	45

Сегодня и завтра, и в день моей смерти Хроника одного года

Михаил Черкасский

© Михаил Черкасский, 2018

ISBN 978-5-4485-7377-4

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Предисловие 2017 года

Газетную лямку я сбросил спустя несколько лет после окончания университета. Выпрямся и ушел с благословенья жены в сторожа: она видела, как я изнывал от мелкотравчатой, уже нестерпимой поденщины. Ведь годы таяли, а мне так хотелось написать что-нибудь настоящее. Хотя я был пуст, как барабан, и за душой еще ничего не было. Кроме души. Говорят, это у всякого есть. Даже у крокодила. Иначе откуда же у него слезы?

Писать эту книгу я начал сразу же после того, как мы с женой остались одни. К тому времени я шагнул по карьерной лесенке вверх на одну ступеньку: из сторожей в кочегары. Точнее – в операторы газовой котельной. И несколько лет год за годом заносил на бумагу все, что спеклось в груди. За шесть лет даже не веником (метлой, шваброй), а всего лишь пером можно насобирать много мусора. Что я с успехом и сделал. И, еще не закончив рукопись, все чаще со страхом глядел на то, что лезло опарой за все мыслимые пределы. Особенно тошно мне стало, когда я прочел «Очень легкую смерть» Симоны де Бовуар (жены Сартра), рассказавшей об уходе своей матери. Если этот протоально равнодушный и нудный роман можно было одолеть только из уважения к Великой французской революции, то что прикажете думать о лезущих к потолку стопках листов. Но, отворачиваясь от здравого смысла, я строчил и строчил. Потому что иначе тогда не мог. И когда все это, сокращая, отстукал на пишущей машинке, – то, зажмурясь, уже не мог не налюбоваться этой пирамидой Хеопса. А посмотреть, ей-ей, было на что. О количестве страниц умолчу, гораздо гуманнее перевести это в килограммы. Весов у нас не было, а навскидку рукопись весила, видимо, килограмма два. А может, и все три.

Больная жена уже так ослабела, что не могла вновь пройти тот же путь, и я отбуксировал рукопись нашей однокашнице Рите, в то время, по сути, единственному моему читателю. Глотала она книжки, как устриц, которых сроду не видела, так что и эти килограммы, отрясая мусор, осилила быстро. И произнесла странную фразу: «Я стою перед этим в удивлении». Много лет спустя новый друг Игорь Иванов узнает об этой фразе и скажет: «А я бы встал на колени». Только прочел он уже не рукопись, а книжку.

Больше пятнадцати лет пролегло между ними. За эти годы я превратился в прозаического хроника: плодил и плодил *тексты*, как теперь говорят. И торопился осчастливить ими московские толстые журналы. От радости они теряли дар речи. А я, видите ли, чего-то ждал, не догадываясь, что опускаю рукопись не в щель почтового ящика, а – канализационного люка. И по-прежнему вдавливал в медный свой лоб, что главное – написать нечто хорошее, настоящее. А уж *они там* (ну, в журналах) напечатают. Как же, как же, ведь они, бедные, ждут-не дождутся, когда «с улицы» вынырнет какой-нибудь графоман-недоумок, который не видит, что в каждом журнале, перед каждым редактором стоит очередь. Это они, Авторы-с. Причем, извольте заметить, маститые и молодые, талантливые и просто замечательные. Стоят и не ропщут, терпеливо ждут своей очереди.

А ведь я знал, что надо, как теперь говорят в России, *тусоваться*, то есть роиться, вращаться в литературной среде. И тогда ты там примелькаешься, станешь почти что своим. Да ведь так всегда было, везде и во все времена. И я это понимал, но все равно думал, что дело писателя сидеть над бумагой за столом, а не отираться в редакционных предбанниках. В общем, не хотел мешать божий дар с яичницей – первый я оставлял себе, вторую охотно делил с друзьями (особенно если у них в гостях). Так и не сумел я войти в круг литературного обихода, хотя и характер, и некоторые знакомства позволяли идти проторенным путем. Да к тому же после жизненного надлома лет на десять выпал из жизни, в основном зная лишь один маршрут: дом-котельная-дом.

Десять лет я не мог взять ножницы, чтобы выстригать лишнее. Но когда за несколько лет убрал вопиющие космы, вдруг отправил рукопись в Москву в «Советский писатель». И вот там

мне повезло: она попала к хорошему человеку, который посоветовал еще сократить, выбросив вставную историю. Но когда я все сделал, он вздохнул: «М-да, рукопись стала какой-то головатой». И вот здесь поневоле задумаешься о том, как найти золотую середину между лишним и нужным. Тем не менее рукопись переправили в ленинградское отделение издательства. И однажды я услышал в трубке незнакомый голос. Это был член издательского совета, известный петербургский писатель Глеб Горышин. «Я потрясен. Иду в издательство и буду настаивать на скорейшем выходе книжки».

А был тогда еще 1991 год. И – не судите строго – я немножечко размечтался. Но в канун нового 1992 года пришел дед морозик Гайдар, взял либерализационный топорик и срубил... великую советскую державу. А вместе с ней и ту елочку, на которой я думал развесить другие свои рукописи. Вовсе не такие *тяжелые* – говорят, даже легкие и «читабельные».

И все же год спустя с помощью друзей мне удалось дешево издать книжку. И прямо из типографии сотню экземпляров сдал в «Академкнигу»: вновь повезло, потому что от «частных лиц» магазины не принимают. Несколько экземпляров отправил уважаемым литераторам. Не ответил никто. Кроме выдающегося русского писателя Виктора Астафьева. Вот что, в частности, написал он в коротком письме: «Ну, и чтением вы меня наделили! Невероятное, небывалое, испепеляющее чтение! Как? Что? Каким слогом написано? Это остается за гранью сознания. Читая, некоторые места перечитывал, чтобы убедиться: написано ладом. Писать о такой книжке – все равно что молитву портить». Выше похвалы не бывает, но мне-то, безымянному, нужен был хоть какой-то публичный отклик. И он был: шесть лет спустя в интервью «Независимой газете» по случаю своего 75-летия Астафьев сказал: вот на столе у меня лежит книжка... И, пересказав ее содержание, добавил, что такие книги нужны.

После выхода «Хроники» ровно за час до нового 1994 года в дверь позвонили: на пороге стоял Игорь Иванов, живший неподалеку. «Миша, я шел с женой мимо твоего дома и решил заглянуть на минутку. Я прочел твою книжку». – «Как? Я же не дарил тебе». – «Неважно. Леня, вы с ним знакомы, купил две – одну для меня. Ты... ты сделал для меня такое... такое... Вот, извини, но возьми это», – и протянул мне... бутылку хорошей водки. Он был абсолютно благополучный человек: профессор, счастливый муж, отец, дедушка. Много лет спустя я спросил его: что же могла сделать эта книжка? «Не знаю. Честное слово, не знаю. Но ничего подобного я не читал».

За минувшие годы с книжкой познакомились многие. Одни ее «проглотили залпом» и были «потрясены». Некоторые из них говорили, что по воздействию это одна из сильнейших книг во всей мировой литературе. Тяжелая? Да, но ее вряд ли читали бы так, если б сквозь тучи временами не пробивалось солнце. Если бы не было просветления в скорби, которое ученые люди называют катарсисом. Но были и другие такие же хорошие (или не очень) люди, которые, едва лишь поняв, о чем речь, благоразумно откладывали книжку в сторонку. Потому что у каждого свой болевой порог. Так что Горышин и Астафьев, говорившие, что такие книжки нужны всем, ошибались.

Вообще-то, ни одна книга, ни один даже самый гениальный писатель не нужны всем. И об этом давно уже сказано очень просто: на вкус и на цвет товарища нет. Я не знаю, кто сказал, что смерть одного человека – трагедия, а гибель сотен людей – всего лишь статистика. К сожалению, это так. Жестоко и в то же время... спасительно. Ибо человек не должен и не может вместить в себя бездну чужого горя. Телевидение приучило нас к тому, что жертвы терактов и катастроф воспринимаются нами мимолетней и равнодушной, чем сводка погоды или очередная шалость какой-нибудь поп-звезды. И вряд ли многие из нас хоть на минутку смутно представят себе, что же чувствуют, с чем *остаются* в надломленной жизни родные погибших. Нет, никому не дано знать, что же чувствует *каждый* из этих осиротевших людей.

Когда умирала наша дочь, и никто и ничто не могло спасти ее, я хотел отстраниться хоть на минутку от надвигающегося ужаса. От того мира, где не было виноватых, но возможно такое.

И не музыка нужна была мне, а – книга. Нет, ничем не загладишь душевную боль, и чужою бедою не вычерпаешь свою. Но, возвращаясь на старое пепелище, вспоминаю, как искал я тогда *тяжелые* книги. И они, конечно, не смогли бы избавить от боли, тоски, но хотелось увидеть, что все уже было и было с кем-то, когда-то. И наверно, я мог бы почувствовать в том человеке друга, собрата, родного.

А еще глаза свои увести мне хотелось от обычных, нормальных людей, от того, что жило повсюду вокруг: у больничных стен, в трамвае, в метро. Лишь в чужую, темную, как мазут, печаль я мог погрузиться на миг. А когда писал эту хронику – уж не книги, а музыка, надрывавшая душу, нужна была мне.

Десять лет спустя после выхода «Хроники» Максим Мошков любезно поместил ее на «полках» своей электронной библиотеки. Сколько людей отыскивали ее там, я, конечно, не знаю. Но несколько откликов получил. «Я читаю Вашу книгу с монитора, и она словно горит у меня в руках. Я одна воспитываю восьмилетнего сына и надеюсь, что ваша книжка поможет мне вырастить его человеком». А полгода назад позвонил приятель и сказал: «Вот „Эхо Москвы“ ты не слушаешь и зря. Там по четвергам с двенадцати до двух часов ночи Дмитрий Быков отвечает на вопросы читателей о книгах. И один чудаковатый сказал, что прочел твою книжку, и она перевернула его жизнь. И спросил Быкова, что он знает о тебе». – «Вот уж верно – чудаковатый. Только и дел у Быкова, что ползать в катакомбах интернета. А кто же тогда будет сочинять статьи, романы, стихи, рисовать огромные парадные портреты конгениальных собратьев по перу. Да еще и отвечать на всяческие вопросы».

Когда-то Рита после «Хроники» денька два простояла в удивлении. Я же до сих пор торчу человеком-невидимкой внизу возле эскалатора. За спиной у меня рюкзак с рукописями. Год от году тяжелея, давит он душу и плечи, гнет к земле. Но стою. Неотрывно гляжу, как бежит вверх лента эскалатора, но никак, ну, никак не могу сделать шаг, полшага, чтобы встать на нее. Слышу, как с нарастающим ревом накатывает поезд, и выскакивают из него молодые литераторы, бегут к эскалатору. А за ними степенно шествуют основательные, маститые. И лента уносит их вверх. Задрал голову, я гляжу им вслед. И, наверно, только от зависти и нескончаемо долгого стояния, кажется мне, будто на одну пару мужских ног приходится полторы пары женских.

Слушая рев набегающего очередного поезда, я по-прежнему верю, что настанет день, когда ранним-ранним утром метро, не выспавшись за ночь, распахнет двери, и побежит вверх лента эскалатора. И, заканчивая ночную смену, уборщица шваброй подтолкнет к эскалатору чей-то бесхозный рюкзак, очутившийся на полу. И поплывет он все выше и выше. А навстречу ему, вниз, проследуют тени тех, что еще недавно так резво и весело возносились вверх.

Работая над романом-мозаикой о первой жене, я правил фрагменты из «Хроники», которые вошли в текст. А потом и всю ту рукопись прошерстил. Так родилось это «издание второе, переработанное и дополненное». А первое начиналось так:

Из рецензии Глеба Горышина: «Принявшись за чтение рукописи М. Черкасского, я начал, по обыкновению, делать «заметки на полях». Но вскоре оказался настолько захваченным чувством автора, атмосферой этого сочинения – единственного в своем роде, – что так и вышел из чтения потрясенным, как будто пережил собственное горе. Представленную М. Черкасским рукопись никак невозможно пересказать, ее можно только пережить: каждая фраза в ней затрагивает самые сокровенные струны души, какие чаще всего сокрыты от постороннего уха. Это повесть о том, как умерла восьмилетняя девочка Лера, рассказанная ее отцом на языке такой любви, такого отчаяния, что местами, даже при чтении, перехватывает горло, останавливается сердце.

Посильна ли для литературного сочинения такая сверхзадача? За примером, аналогией я, честное слово, не знаю, к чему обратиться. И самый ответ должен найти только в собственном переживании прочитанного, настолько все это личное и в то же время общечеловеческое, подспудно уготованное каждому из нас. По-видимому, литературный ответ надо оставить в стороне, если иметь в виду общепринятые мерки. Случай особый, может быть, дающий нам пример той новой литературы, которая решается взять на себя немыслимую доселе концентрацию человеческого чувства, горя, душевной незащитности – перед лицом грозных и равнодушных явлений переживаемого нами исторического момента. Может быть, примеры этого рода литературы можно найти у Солженицына или Шаламова...

...Я всячески за наискорейшее напечатание книги М. Черкасского, ее близко воспримут в каждой семье, в каждой стране. Глеб Горышин».

Часть первая

Был шестой день сентября, и бабье лето в нелинялом зеленом подоле по-старушечьи грелось пред домом, и солнце, еще по-летнему жирное, растекалось на голубом блюде. Одинаково доброе, одинаково равнодушное ко всему и ко всем – очень разумное солнце.

Был час дня, и я торопился в школу. В английскую. Поначалу казалось нам, что это будет нетрудно: наша мама работает в детской газете и, если попросит, то долго ль уважить. Подумаешь (наверно, говаривал Кромвель, отправляя на эшафот), одним англичанином больше, одним меньше. Но пришла мама, хмуро вздохнула: «Отказала директорша: не наш, говорит, микрорайон. М-да, директорша эта...» – шибко поморщилась. Что ж, смирись, человек, иди в обычную приходскую школу, их так много вокруг. Но хотелось в английскую. Уж если не балет, не музыку, так хоть это можем мы дать? Ведь водили на прежней квартире в группу при доме пионеров. И нравилось: «Э кет – кошка. Ха, смешно как...» – «Только – кэт, кэт, доченька, а не кет. А то у тебя получается кит». – «Э кит, э кит!..» – залилась и давай бегать по комнате. А где уж там бегать на этих вытянутых пятнадцати метрах. Пенал не пенал – жил-площадь.

Значит, с английской не вышло. Но мы еще думали. Оставался последний, но кумулятивный снаряд – Лина, которая может пробить все. Рапорт ее на мой телефонный запрос был по-военному скор: «Ясенько!.. Не беспокойся, Сашуня. – И два дня спустя: – Ну, вот, я могу устроить, но у Технологического института. Ах, спасибо!.. Весь город лезет к ним с этим!.. Боссы!! А ты хочешь...» Ничего уж я от нее не хотел и поэтому проглотил – молча.

А уже незаметно подкрался учебный год. Он принес мне и другие заботы. Летом на радио валяются деньги, и это должны знать все. Штатные отдыхают, и некому поклониться, чтобы зачерпнуть из гонорарного ручейка пригоршню звонкого серебра. В «Пионерском вестнике», который не гнушался и мною, дали мне вечно юную тему: живописать к новому учебному году новую школу. Что ж, вздохнулось невольно, тут надобно танцевать от гороно, которое скажет: столько-то типовых, в таких-то районах. И предложит, как хан Кончак: если хочешь, любую из них выбир-рай!.. «Вот у больницы Мечникова, – на прощанье сказала инспекторша, – открывается школа. Кстати, английская».

Невидимые камни падают на нас. Где, в какой день, в какой миг, оступившись или неосторожно забежав, делаем мы тот роковой шаг, чтоб точнехонько угадать под булыжник? Или добрые ангелы терпеливо сидят над обрывом и ждут, рассчитав, когда надо спихнуть? И тут уж спеши не спеши, жди не жди – не отвертись, не отсидишься. По каким статьям, за какие грехи иль за доблести выпадает нам это? За что? Спросите себя, когда, торопясь на работу, на свидание, в магазин за пол-литрой, каблуками не чувствующими давите червяков, выползших после дождя. Когда в лесу (по грибы ли, по ягоды ль) вминаетесь в рыжеватую копошащуюся ниточку муравьев. Вы слышали, как они спрашивали?

Ехал я в школу, скучаясь ожидая нудно-бодрой беседы с директором. А мне бы уж в пору совсем о другом было: тень летящего камня пала на нас. Я не видел, не слышал – сочинял. Три странички текста (докладную записку для кассы). Но при этом следовало соблюсти жизнеполагающий принцип журналистики – от частного перейти к общему. Короче, надо было упомянуть, сколько будет введено новых школ в городе. Достаточно было еще разок снять телефонную трубку, поговорить с той же инспекторшей, но голос ее звучал так дружелюбно, что, не признаваясь себе, я решился на встречу.

И свою припасенную заднюю мысль вклинил со вздохом меж делом:

– Да, хорошая там школа. Повезло людям, а мне вот никак не удастся устроить дочку в английскую.

– А где вы живете? – и уже на другой день вдруг услышал: – Принята.

– Как? Уже? Спасибо, большое спасибо!! Я даже не знаю, за что...

– Просто так. Считайте, что вам повезло.

В чем же дело? Симпатия? Может быть, но деловитая эта женщина ни глазами, ни голосом не баловала – наши взгляды не имели двойного дна. Чуть позднее я понял, что была это шутка господня. А я радовался, просто места себе не находил. Бегал по комнате, вокруг телефона, будто лошадь на корде: Тамара на задании, кому б позвонить?

– Анна Львовна, я устроил Лерочку в школу! – доложил Тамариной заведующей.

– Вы? Сами? – басовито посмеивалась. Но я не обиделся, все правильно: не тот папа.

И примяв трубкой соски телефонных кнопок, искал новую жертву: «Лина, я устроил!..» – взхлеб, не захлебываясь однако ж. А стоило бы. «Ну, ладно, ладно, Сашуня молодчик. Хорошая женщина? Ну, Сашечка, разве кто-нибудь может устоять...» – «Да нет же!..» – всерьез, хотя так и видел, как она там улыбается – не грязнее, чем жизнь, и не чище. Скепсис – не сепсис: не убивает. И потихонечку остывал.

Еще холоднее мне стало, когда поднимались с тобой, доченька, по лестнице к кабинету директорши. Школа как школа, но все здесь пропитано таинственным и желанным английским духом. Там, где обычно висит 3-Б, здесь: 3-Б ROOM.

– Room... – прочла.

– Не роом, а руум, класс, – поправлял, обладая лишь полсотней слов и каким-то произношением.

– Папа, а это что?

– Это WC – ватерклозет значит.

– Что, что?.. – нежно, удивленно склонила каштанную голову. – Уборная? Ха, ты шутишь? Туда англичане ходят?

– И англичане, говорят, тоже.

– А нас пустят?

Не успел я взойти в кабинет, как сразу почувствовал, что уже взвешен – взглядом пристальным и натасканным.

– К сожалению, мы должны будем вам отказать, – сказала директорша. – У вашей девочки большое сердце. Как большое? – Насмешливо словно передразнила меня: – Так: шумы в сердце. Может, это и не страшно, как вы говорите, но не забывайте, что нагрузка у нас очень большая.

– Ну, хорошо... – все же немножко струхнул, черт с ней, с английской, здоровье важнее. – Но мы бы хотели попробовать. Если я вам принесу справку, что...

– Не сомневаюсь, – значительно усмехнулась, – что справку вы принесете.

– Нет, вы обо мне чересчур хорошо думаете: я без блата.

– У вас все? – спровадила меня торжествующим взглядом до дверей.

Вот так, а ты, балбес, радовался.

– Ну, папа... – подняла глаза, дергала за руку, – что ты так долго? Ты что, расстроился? Тетенька сердитая? У-у, какая... Все в порядке, да, папа?

– Не совсем, Лерочка, шум у тебя в сердце.

Притихла, шла молча. «А шум – это что? Это плохо? С этим учиться нельзя?» – «Можно, но только в английской трудно». – «А почему трудно? – кареглазо заглядывала. – Будет шуметь, когда говорю по-английски?»

На другой день мы пошли в школу. В обычную, на медосмотр. Вышла, протянула разочарованно: «Волосы только пощупали. – И вдруг шепотом, озорно, притянув мое ухо: – Гнид, говорит, нету. Папа, а что это такое – гнид?» – «Хм, вошкины детки». – «Вошкины детки!.. вошкины детки!..» – залилась на весь вестибюль.

И все же нас приняли в английскую: позвонил я знакомой инспекторше, и пришлось директрисе сдаться.

Есть такие ремёсла, что стремятся уподобиться мудрости мироздания. И самое главное, что за кочегарские годы я усвоил в этой науке – непрерывность: как череда времен, сменяем мы, четверо, друг друга. Сутки через трое. Но когда наступает лето, ломается график, уходят в отпуск «коллеги», и тогда через день пашешь. Весь чёт сентября был Дементия Ухова, нечет мой. И как уж ни хотелось мне проводить тебя с мамой в школу, не смог. Накануне вечером Тамара принесла букетик для школы. «Шестьдесят копеек... Недорого?.. – как всегда, застенчиво, виновато наклонила темную голову к милым маленьким георгинам. – Ты знаешь, я не люблю большие, расфуфыренные букеты...» – будто оправдывалась. Никогда не кольнул бы упреком (мне ли?), но – въелось сызмала, с полусиротского детства.

Я пошел в будни. А вокруг духовитым антоновским яблоком наливался праздник. Может, самый лучший после Нового года. Сколько было у нас их с мамой. Школьных, студенческих. У тебя лишь один, счастливый. И второй горше всех снадобьев, которыми мы так настырно досолаживали тебя.

Как вы шли в школу, как там было, я узнал позднее, полтора года спустя. Была зима, кислая, квелая. Первая без тебя. И брели мы с твоей мамой в сторонку от тех мест, где гуляли с тобой.

– Уже было много народу, а мы все еще не знали, в какой же нам класс – А или Б. Ребят выстроили в каре перед школой... – А голос такой же мертвый, сырой, как снег этот тающий, давленный, как черное, подслащенное фонарями небо. – Директорша что-то долго, казенно вещала. Потом еще кто-то. Наконец кончилось, строй сломался, и старшие подбежали к первоклассникам, чтобы вручить им книжки и еще что-то. А Лерочке не досталось. Ведь ее зачислили в самый последний день. И она стояла растерянная, а се-таки радостная, счастливая... – Горло перехватило. И шли молча.

Я, наверно, обидел директоршу. И, наверно, обижу еще многих. Но если я отдаю самое невозвратное в равнодушные руки, почему бы и мне не подать вас такими, какие вы есть. Или кажетесь мне. Да и кто вас узнает – в чужих именах. В своих-то не признаемся. Всё ли правда здесь? Нет, конечно, всё – лишь в справочниках (кто есть кто?). Иль у господ бога. Здесь – лишь так, как виделось мне. С опущениями. Вынужденными и обязательными. Для чего ж отдаю? Вот пришла с работы Тамара. Нога за ногу, никуда уже не спеша. Парком шла. Мимо мест твоих, мимо наших. Глядела на ребятишек – плакала. На пруды, что топтали с тобой по зиме, – плакала. На кусты, холодами раздетые. Обступало ее. Отовсюду. И плакала, чтобы домой прийти насухо. Но сегодня села, не раздеваясь, убито уставилась в пол: «Приходила в редакцию мать Ларисы Михеенко. Только что из Германии вернулась. Там, на верфях, серию кораблей строят с именами пионеров-героев. Первое судно – „Лариса Михеенко“. И я думала, как это хорошо. Если бы моя гуленька... так же, хоть где-то, хоть имечко...» Полфута тебе под килем, «Лариса Михеенко»! А что вам, безымянные? Не помянутые, неведомые. Вам, безвинные мученики?

Был шестой день сентября, и я шел в школу. И привычно, потертыми кубиками складывались предо мною остатки дня: вот придем, накормлю, уложу. Встанешь, в парк двинем – встречать нашу маму. Сколько их еще впереди, этих будничных, счастливо иззабоченных дней. Пуганые с год назад тяжелой болезнью Тамары, думали мы с молчаливой надеждой, что тень эта минет, уйдет. И всегда будет солнце, всегда небо и, самое главное – мама.

Школа еще не очнулась от уроков – вестибюль гулко раскатывал редкие голоса. Но вот залился звонок, и сразу же все взвихрилось, словно куча осенних листьев, вспугнутых ветром. Я глядел на лестничный марш, косо летящий от потолка к цементному полу. Вприпрыжку сплавляла по нему перемена разнокалиберный школьный люд. Еще и вовсе детсадовские коро-

тышки, середнячки, басовитые усачи-гренадеры. Даже вчуже боязно было видеть, как впере-мешку с этими корабельными соснами сыпался первоклассный подлесок.

Мамы, бабки, дедки бросались в затор, торопливо вылавливали своих, уводили в сторону. Бушлаты мышиные, пелерины ландышевые. И, будто солнце, в глаза мои поглупелые грянуло: ладошкой за перила, в шоколадном платице, так ладно подогнанном, осторожно скатывается мой смуглый, разбурянный персик. И белый воротничок рифленой бумажкой оттеняет лицо. Никогда, никогда, даже в тот первый год, когда запоздалый родитель от любви умом помрачается, не хвалили тебя, не хвастались. Берегли, чтоб не сглазить. Не красавица и не кукла – отнюдь. Упастая и курносенькая, но такая девочка, наивная, светлая.

– На, папа... – устало протянула портфель, безразлично спросила, услышав, что скоро обед: – А что мы будем кушать?

– Есть, доченька, есть... – и подумал: что-то она устает в школе, неужели права директорша? Возле дома сказал: – Лерочка, ты погуляй минут двадцать, пока я обед разогреваю.

– А как это – двадцать? А ты купи мне часы, папа. – и почти сразу же снизу, со двора: – Папа-а, уже прошло двадцать? – стояла с запрокинутым кверху лицом.

– Нет, двенадцать! – рассмеялся. – Ну, иди, иди... Загудел лифт – полез в проволочной огороже деревянный шкаф. Что же слышал я, ведь ревело – пронзительно, страшно, стотонной бомбой, подминая комариное зудение лифта. Уложил, осторожно прокрался на балкон с сигаретой, сел на скамеечку, за широкой фанерой, отслоившейся, грязной. Мелом на ней твоею рукою было выведено печатно: ДУМАЕТ ОН. О чем же он думал в тот дремотный послепо-луденный час?

Пыльно, неспешно шаркая по асфальту, плелся день. И в такт ему думал, как же гадко идет моя жизнь. По уши увяз в картах, в кухонных заботах, но это-то ладно, это ради тебя, но – карты!.. А что – все равно не берут, не печатают то, что пишу. Вот и тянет в игорный дом. Как-то, сидя в котельной, решил я проверить, что же приносят картежные вечера. Полосами шло, но в итоге за месяц очистился... нуль. Нуль – понятно, но, скажите, в чем же таился вселенский смысл? Убивать время? И это недурно, в этом – как ни верти – вся жизнь. Но тогда к чему ж пристегнуть генеральную мысль идти в сторожа, в кочегары – ради свободного времени для своих поделок?

Не всегда было так. Года три назад бросил прелый картёж и строчил, строчил рассказы, очень редко поднимавшиеся выше обычного очерка. Но я наслаждался, давясь собой: вот, могу! Как всамделишные! Настрогал с дюжину, и сволок их Гулливером, пустил в синее море – в голубой ящик, почтовый. Кораблики. Ключевой водой они были просмолены, на воде и держались, покуда их видел, недурно. Как уж там их валяло, неведомо, но прибило к родимому берегу всех до единого. И попутный сургучный ветер полоскал на реях паруса чужие – отказы. Провожал Гулливером, встречал – лилипут. И обвисло все. И шатался по картам.

Я картежником был азартным и совершенно безмозглым. То есть, просто ку-ку: так теперь говорят о тех, у кого с головкой ку-ку. Когда видел в кино или читал, как играли настоящие «люди», то всегда сокрушался о безвременной гибели карточных колод. Обойдет она круг и – в корзину. В общем, поступали с ними так, словно это одноразовые шприцы. Ох, и велик же был страх перед шулерами. Но в том доме, куда иногда несло меня вечерами, собирались на кухне гуманные старые дамы. Поэтому и колоды были там такими же долгожительницами. Короли, дамы, даже валеты несли на себе следы бурно прожитой жизни: немножко нервного пота, алчной слюны, сальных пальцев. И ушлые партнерши следили, как ложатся в колоду карты, сгребаемые со столешницы очередным раздающим. Следили и прикидывали, какая масть из плохо растасованной колоды ляжет в прикуп либо приплывет к ним. Меня же увлекал сам «процесс».

Квартира, куда мы приходили, была трехкомнатной, но дальше кухни игроки и не заходили. Потому что это были не гости, а партнерши Елизаветы Александровны. Обитали в квар-

тире две семьи – «старики» и дочь с мужем и сынишкой. Дом держался на Елизавете (магазины, кухня, уборка), поэтому ей даровано было право вечерами принимать партнеров. К их услугам был большой квадратный стол, на котором карты я видел, но даже хлебной корочки никогда. И это вполне справедливо: вы что, жрать пришли? Да к тому же игра убивает аппетит. Елизавета Александровна «работала», остальные «служили»: эстрадники (дочь и зять) святому искусству, а Иван Александрович был директором парикмахерской в гостинице «Астория». Наверняка эту синекуру ему скинули в ротик с ведомственного подноса за добросовестную работу в *органах*. Ведь в гостинице, где в основном расселяли иностранцев, даже горничные и дежурные по этажу были насквозь просвечены чекистами. И как уж там очутилась Лина, я не спрашивал. Наверно, одной еврейской службе все-таки разрешили войти в сей храм.

Что ж, вот и появляется здесь эта женщина – во весь свой маленький и нескладный, но такой *пробивной* рост. Я не раз слышал от хозяйки это имя, и однажды спросил: «Старая?» – «Ты что, черт старый, ты и меня эдак тоже запишешь в старухи. Двадцать шесть лет – это что, старость?» Никогда позднее не спрашивал, что тянуло Лину, завзятую преферансистку, в эту компашку к примитивной игре. Может, выдавались какие-то пустые вечера, а домой идти не хотелось. Может, это был своего рода знак уважения шефу – почтить его дом. Дядя Ваня, чернобровый, невысокий, посмеивающийся, излучал благодущие и равнодушную приветливость. Иногда глядя на его благожелательное лицо, я хотел представить, а каков же он был в страшные тридцатые годы? Иль судьба хранила его от «дознания», и крутился он где-то по хозяйственной части. Ведь и костоломов надо же было хорошо обихаживать.

Лучше всего было мне играть в рабочие смены в детской психоневрологической клинике: Тамара знала, что я на работе. Ах да ох, «По вечерам над ресторанами вечерний воздух дик и глух. И правит окриками пьяными весенний и тлетворный дух». И я выходил из подвальной котельной в сырой, тихий мартовский вечер. Боже мой, неужели все это было? И наша комната – почти рядом; где Тамара и Лера, еще веселые и здоровые. И этот больничный дворик, доступ в который преграждает высокая решетка. Но иногда несчастные матери все же проникают туда и стоят с плакатиками в руках, на которых имена их детей: чтобы другие ребята позвали. И за стеклами, за железными жалюзи, в которые и ручонку-то не просунуть, все же смутно угадывались детские лица. И запомнилась бедная мать с воззванием на груди: Витя Лесин. И его голос долго-долго занозой просыпался во мне. И не знал я, что скоро-скоро тоже что-то услышу. А он: «Мама, заberi меня отсюда». – «Но как же, Витенька, я тебя заберу, доктор сказал, что еще неделю надо побыть здесь». И, обиженный, он ушел от окна. А она все стояла, не в силах сдвинуться с места. Пока дворничиха не прогнала ее. И не *выдала* мне: это ты их пускаешь, вот скажу главврачу. Да пошла ты! – послал ее далеко.

Неужели все это было? Этот темный сырой асфальт, местами уж серый, просохший. И осевшие снежные кучи возле каменного забора, ноздреватые, грязно черные даже в ночи. Неподвластный ни камню, ни копоту тот весенний воздух, в котором всплывают и лопаются шампанские пузырьки каких-то неясных надежд. «Над озером скрипят уключины, И раздается женский визг; А в небе, ко всему приученный, Бессмысленно кривится диск».

В один из вечеров я вошел на кухню и огорчился: места для меня не было. «Фидель, – так окрестили меня здесь за козлиную бородавку, – возьми табуретку и посиди. Наверно, Боря скоро уйдет, и ты сядешь». – Распорядилась хозяйка. Этот зять иногда подсаживался к столу, чтобы после концерта немножко потешить себя в сообществе млеющих от такого партнера старушек. Ближе всех почти на углу стола сидела какая-то незнакомая молодая женщина с остро заточенным, но приветливым, миловидным лицом. Меня, вошедшего, она бегло оценила легкой насмешливой гримасой. Но лишь рядом с ней был клочок пола, куда можно было придвинуть к столу свою табуретку, поэтому я спросил: «Не помешаю вам, если пристроюсь здесь?» – «Нет, конечно, пожалуйста». – «Лина, сдавай».

Так вот это, оказывается, и есть «та самая» Лина. Теперь уж я усмехнулся, правда, в пространство, ибо то, что сидело рядом со мной, решительно было не по мне. Хорошенькая? Возможно, на чей-нибудь вкус. Живая, насквозь импортная, хотя и рядится в скромненький ситчик под общий застольный стиль. Но за версту видно, что ушлая, хваткая. И то ли поэтому, то ли, чтоб скоротать время, пока хозяйская дочь не подарит Бореньке «взгляд», и он тотчас же выдворится, освободив место, – я начал легко и свободно трепаться с незнакомой женщиной. А она – надо же! – схватывала все на лету, как голодная собачонка, когда ей бросаешь давно уж обглоданные косточки с запахом мяса. И пока зять еще был за столом, женщина великодушно предложила мне играть на пару. Но вот он ушел, и я пересел на его место.

Ох, как выстрадана мудрая игроцкая поговорочка: «Не за то отец бил сына, что играл, а за то, что отыгрывался». Удивительно точно: ведь именно стремление проигравшегося вернуть утраченное «любою ценой» и загоняло играющего в абсурд. Но тот вечер, когда я впервые увидел Лину, был удачным: карман мой раздулся от выигранного червонца. Не каждый раз игроки вызывали такси, но тогда народ засиделся (некоторым хотелось отыграться), поэтому заказали аж две машины. Расселись. Но передняя почему-то не трогалась. Я увидел, что Лина вылезла из той машины и направляется к нашей. Была эта женщина в синтетическом пальто – желтом с черными кляксами. Если бы африканский леопард увидел эту шкуру, его бы немедленно прохватила медвежья болезнь. «Для меня здесь местечко найдется? – открыла дверцу машины. «Конечно, конечно, Линочка!..» – закудахтали две тетушки. И когда эти попутчицы рассосались, я вдруг по случаю выигрыша превратился в такого джентльмена, что решил подвезти Лину к дому. Она и не таких видывала, поэтому не оценила моей жертвы. Молчать стало неловко, и я, щадя уши таксиста, наклонился к попутчице:

– Вы знаете, Елизавета Александровна такая жадная.

– Да-а?.. Вы думаете?.. – неудобно же соглашаться с незнакомым человеком, тем более, что он покусился на жену шефа. – Я все-таки ее мало знаю.

– Нет, нет, это само собой, но я о другом: она по секрету сказала мне, что вам 26 лет. Если я вам немножко добавлю... ну, скажем до 33-х, вы, надеюсь, не скажете, что я тоже жадный?

– Вы... вы пхосто нахал!»!

Да не нахалом я был, а дурачком, потому что ей уже минуло тридцать пять.

Когда дня через три я справился по телефону, скоро ли соберется компашка, Елизавета неожиданно возбудилась: «Лина просила тебя срочно позвонить». – «Зачем?» – «Откуда я знаю. Запиши ее рабочий телефон». Нет, не поспешил я в тот день позвонить ей. И назавтра тоже не стал. Конечно, все было ясно, только зачем она мне? А когда позвонил, то услышал торопливый, невнятный лепет: буду ли я завтра у Елизаветы? Не знаю. Ну, постарайтесь, я вас очень прошу.

Позднее она иногда вспоминала первую встречу: «Бо-оже, как ты был одет: уж-жас!..» – и, конечно, при этом прикладывала сухую ладонь к запялавшей щеке. Почему «ужас», я лишь смутно догадывался. Конечно, в публичную библиотеку я старался прийти в белой сорочке, при галстукке, что вместе с лысиной да наметившимся тогда подзобком отчасти заменяло ученую степень. Но из котельной я все же явился, как заурядный советский гражданин: в пиджаке, ковбойке и брюках. «Но как только ты откхыл рот – так всё!.. И голос, голос, конечно! – будет сказано мне позднее, а тогда умоляюще и настойчиво: – Постарайтесь, пожалуйста!»

Однако постаралась Елизавета: слегла с затянувшейся простудой. Но когда я справился об ее здоровье, она вновь напомнила: «Лина просила тебя срочно позвонить, срочно!» Что ж, карантин был выдержан, я набрал номер. И услышал, что нашла она новый игорный плацдарм. «Завтра днем вы свободны? Тогда в три часа». – «Так рано?». – «Понимаете, иначе нельзя». Ничего я не понял, но поехал. Дом стоял где-то в центре. Встречала меня Лина, распахнувшая дверь в чужую квартиру, и странная тишина холодно стыла за спиной женщины. Ни чужого

любопытного глаза, ни шарканья ног или старческого кряхтения – ничего. Да и женщина, глядевшая на меня, была мыслями явно не здесь.

– А где люди? – бестактно спросил я, походив под высокими потолками старинной добротной квартиры.

– Придут... – нет, этот мертвый голос, эти озадаченные, даже растерянные глаза никак не могли принадлежать той, что была в первый вечер у Елизаветы. Раньше в ее расслабленности чувствовалась чуть насмешливая вальяжность к этой мышиною возне не интересных старух. Ох, как же сильно переоценила она меня в первый тот вечер: я ходил по квартире, ожидая партнеров, до тех пор, пока даже стены, а не только широкий диван не закричали: кретин, кого же ты еще ждешь?! Лишь тогда наконец-то и я все понял.

– Ну, что ж, – не по-мужски гадко улыбнулся, – раз никого нет, я пойду.

Жалко было смотреть на ее замкнутое, какое-то растерянное лицо. Неужели она впервые сталкивается с таким обормотом. Только не было во мне почему-то жалости. Лишь глухое, оскорбленное раздражение. Еще бы, меня *обманули*. А нет бы подумать, сколькими унижениями, услугами ей пришлось, да еще придется заплатить хозяйке квартиры. Но не видел я женщину в ней, а только партнершу. И свой антропологический интерес удовлетворил в первый же вечер. И не ведал я, что уже давно покатился с ледяной горки новый 1966 год, последний – наполовину – счастливый для нашей семьи. Нет, не чувствовали мы, что несет уже нас к пропасти. Напротив, мечтая, плавно парили в долгожданную отдельную квартиру. Ох, с какой же надеждой мы въезжали туда. И не видели, что вместе с нами безо всякой «прописки» беззвучно вселяются две беды, две болезни.

Еще накануне переезда вдруг сказала Тамара: «Я нащупала у себя в груди шарик. Надо будет к врачу». И хотя еще не был я пуганой вороной, но – ударило. – «У моей знакомой по библиотеке есть хороший хирург, он служит в военной академии, но работает в той больнице, которая рядом с нашим новым домом». – «Хорошо, переедем и, если он согласится, пойду к нему». И, едва мы въехали в новый дом, как Тамара сразу ушла в больницу. Две тяжелые операции. Химия. Циклофосфан, слизанный с немецкого эндоксана. И, возможно, не придерешься к нему: всё по формуле, только – неочищенный – вызывает сильнейшую рвоту. А в аптеках, конечно, есть и желанный эндоксан, только – где и кому.

Не совру, но и впрямь не помню, как узнала обо всем нашем Лина. Ведь тогда мы и сами не делали из своей жизни секрета. Я совсем не знал ее. Только то, что работала дамским мастером. И конечно, делала модную когда-то «химическую завивку». Не нужна была ей формула этих химреактивов для завивки, но зато оказались длиннейшие химические цепочки из различных знакомых. И позднее случалось, что она просто не могла меня понять: «Ну, как же ты не помнишь Юлика, мужа Тани, а она сестра Милы, которая замужем за Витей, а он – ты же слышал о нем – работает у Сергея, и жена его дружит с...» Ну, об этом давно уже и стихи сложены: «Вот дом, который построил Джек. А вот синица, которая часто ворует пшеницу в доме, который построил Джек...» Но мои любимейшие синички – не курицы, и зерно им не нужно, так что пусть Маршак возьмет на себя эту напраслину в своем переводе.

А Лина... она даже в Тамариной газете кого-то знала. И прослышала о наших бесплодных попытках добыть эндоксан. Так или иначе, но однажды услышал я в трубке ее вечно надтреснутый, хрипловатый голос. И почти сразу: «Я попробую вам достать эндоксан. – И двумя днями позже: – Приезжайте за ним». А потом... Не нужны были ей мои благодарности; в самом деле, зачем, если мне называют улицу, дом, квартиру. О партнерах даже не заикаются. Правда, спрашивают: «Вы сможете туда приехать часа в три?» – «Да... смогу». И всё, всё, мой миленький, *позднiяк метаться*, как начнут когда-нибудь говорить молодые. И квартирка-то недалеко от нашего дома: только перейти проспект, чуть-чуть углубиться в зеленые кущи, выросшие меж хрущевских пятиэтажек, и ты там, зайчишка. Что ж, в первый и в последний раз был я женщиной: меня брали. Против желания. И скажу вам, очень трудно в таких случаях женщине.

Так сложилось, что теперь я снова живу поблизости от тех мест. И, бывая на другой стороне проспекта Гагарина, изредка вдруг вспомню, что где-то неподалеку стоит тот дом. Где сидел я, как бык, приведенный на бойню. Да, сижу в небольшой, очень чистенькой кухоньке. За маленьким столиком, на холодный пластик которого Лина, откинув челюсть большой «Оки», что-то ставит. Я, протак, вообще в первый раз вижу холодильник. А уж там сияют неведомые мне сосуды, салатнички: из стекла и керамики. Я смотрю и стараюсь думать об этом – увиденном, но меня уже спрашивают: «Тут есть грибы... махинованные... хотите?» Больше всего я хотел бы встать и уйти, но: «Спасибо, все равно». Потому что вижу самое главное: бутылку «столичной». Прозрачную, как моя непролитая слеза. И Лина, и хозяйка той квартиры хорошо знали, что пьяный мужчина гораздо *доступнее*. Взял за горло ее, разлил, и, наверно, мы чокнулись. За что-то. А потом уж я один продолжал. Она – как потом выяснилось – терпеть не могла спиртного. «Саша, почему же вы почти ничего не едите?» – «Потому что я либо пью, либо ем». Впрочем, это было слишком громко сказано, потому что мне хватало и трех стопок, чтобы вымыло из башки и груди свинец.

Вышел из того дома я с привычным женским чувством *падения*, потому что я *изменял*. В Костроме, после университета, где был я свободен, это чувство не мучило. Ну, так что ж это было? Падением? Нет, это не было падением. Это было спасением? Нет, и спасением тоже не было. Это был... ангел-бульдозер. И вообще, со с чего это вдруг Лина соскочила с катушек, утратила твердую почву под ногами? Мало ли знала она успешных, умных, вальяжных людей. Ведь сейчас, неделю назад, позвонила мне и зашлась, захлебнулась в восторгах: «Сашка, прочла книжку Городницкого. Ну, ты подумай – ведь я знала почти всех-всех, о ком он пишет! Писателей и поэтов, эстхадников и просто знакомых! Надо же!...»

А Тамара? Безусловно, догадывалась, но вошла в наш дом Лина вместе с бедой, и, когда заболела Лера, все бывшее, наносное, смыло благодарной волной.

В тишине повернулся ключ, осторожно отчмокнулась дверь, вторая – Тамара улыбалась с порога. Встала у изножья кровати:

– Ну, доченька, поспала, да?

Но чего-то молчала ты неотзывно, насупясь. И еще было тихо, очень тихо.

– Живот болит... – пробурчала.

– Саша, что-то она мне уже второй раз говорит про живот... – тревожно оглянулась Тамара, и улыбка мгновенно потухла. – Ну?.. – ловко присела сбоку, сдвинула одеяло, огладила грудь, животик. – Где у тебя?

А над нами ревело, проламывало чердак, этажи. Седьмой...

– Там... – подбородком на грудь, сердито.

Разорвало, с треском разворотило шестой. Я стоял, улыбался: ничего я не видел в жизни ближе этих двоих. И дороже жизни было, чтобы были они – всегда! – вместе. Так и стало. Они *там*, я *здесь*. Проломилось над нами: тр-рах!.. рухнуло.

– Саша... – испуганно обернулась ко мне, – что-то у нее твердое, – голосом, какого не слышал. И глаза ее синие начали замерзать. И морозом прошло по мне.

Тихо стало над нами, вокруг. Безжизненно пусто. Так впервые мы очутились на сцене. Одни. И откуда-то наплывал леденящий, сжимающий душу набатный гул. И как будто отмерилось шаг в шаг – Тамара спросила:

– Может, в поликлинику? Кажется, наша участковая принимает. – Позвонила. – Можно к дежурному.

Проводил, на балкон вышел, глядел вслед, взял книгу и... пошел за вами. Добрались, разделись. Врач: пустяки... Нет, нельзя так! Думай, болван, о худшем, будет... Но иначе не мог. Иначе там было. В эти минуты. «Ну, так что там у вас? Твердое?..» – провела пальцами, нажала. И со звоном упали осколки улыбки. Косо, бегло взглянула на мать, быстро вышла, унося на пле-

чах ненужный фонендоскоп. Вернулась с хирургом. И теперь этот твердыми, властными пальцами начал обминать смуглый животик. Переглянулся с дежурным, вышел. И эта за ним.

– Чего они бегают?

– Сейчас... сейчас, доченька... – каменела неживая улыбка.

Вернулись, уже с третьим, заместителем главврача. И опять пантомима. Спыхватились: «Ну, все, деточка, одевайся и посиди в коридоре». Улыбнувшись тебе, притворила мама дверь, обернулась, зная уже – под топор. «Дело очень серьезное. Или опухоль почки или гидронефроз. Вот вам направление в Педиатрический институт. Завтра же идите туда».

Вошли вы и... как сейчас слышу, как всегда слышу: «А меня в Педиатрический институт кладут на обследование», – подняла на меня глаза, напуганные и по-детски гордящиеся. А когда уснула, сели в большой комнате – звонить друзьям. Чтоб звонить врачам. И вот первый номер выбит уж в камне в нашей телефонной книге. Первый, а потом... С каждой буквы, многоярусно, бойницами пялятся имена, имена... Маститых, заурядных, прямых, косвенных. Онкологический справочник. И, быть может, завершить его могла бы такая вот запись: Горохов Сергей Ив. 42 09 71 (директор Бетонного з-да). Что такое? Да ничего страшного: там хотели мы сделать памятник. Слава Богу, не вышло. А человек, помнится, был на редкость приятный.

Тикали, тикали часы. Минул вечер, потянулась ночь. Уже темная, округло выеденная желтыми фонарями. И, не зная всего еще, была по-волчьи временами мама твоя, Лерочка. По тебе. И по нас.

А утром, по самой сентябрьской рани на работу я шел парком, где и вам идти часа через три. Нет, не в школу, в больницу, но еще не в тот предназначенный нам институт – в городскую детскую клинику, где положат тебя денька на три да и выпустят с Богом да с тем же диагнозом: или – или? Выбирайте, родители, либо опухоль почки, либо гидронефроз.

Как всегда, летом, загадочная, притихшая, ожидала меня кочегарка. За ночь, остывая в безлюдии, в тишине, обдумывает она что-то свое. И четыре негритянские морды котлов ждут чего-то. Чего вам, ребята? Взрыва, что ль? Или просто запальника? Растопил. Загудело пламя, засипел в трубах газ. Пришел Гоша, слесарь. Прямой, гладкий, одутловато красивый. Лейб-гвардии водопроводчик нашего тубдиспансера. «А-а, Сашель!.. А я-то вчера – в дупель! Корректно с Петровским набрались. У тебя, там, в кармане, не шебаршится? – наклонился, ласково улыбаясь. – Дай на мальчика. Ты чего? Никак тоже с похмелья, ха-ха!.. Ну, видать, в картишки обратно продудся».

И вдруг брызнуло из меня в три ручья. – «Ты чего?!» – отшатнулся, сдвинул белёсые брови. «Гоша, у меня несчастье... дочка заболела. Опухоль... кажется...» – «Ну... – поджал губы и шмякнул: – Писец!.. шесть гвоздей!..» – и пошел укладывать в противогазную сумку бутылочный порожняк. Первый раз я сказал. И последний – на работе. И молчал долгие годы, хотя все давным-давно уже все знали.

День тянулся, и все время я бегал к автомату на Кировском – позвонить, узнать, но Тамары не было. Наконец-то в половине пятого услышал: «Положили... Предполагают, что почка. Я сказала, что ты завтра придешь. Извини... я сейчас, сейчас...» – не смогла говорить.

И побрел назад. Мимо жасминовых кустов, сторожащих больничный двор от дороги. Вы не замечали, часом, что растет он чаще всего при больницах? Возле стен этих горестных, видевших-перевидевших. Видно, некогда добрая чья-то рука принесла сюда этот белый яблонный цвет, чтобы скрасить недолгую долю кому-то. И уж так повелось. Даже в новых больницах, в нашей, где лежала Тамара, тоже в охвате высоких блекло-зеленых стен – молодые, нерослые, раскрывали они белыми бабочками благородно мраморные, сладковато приторные свои лепестки. Над слепящим, желточно ликующим кипением одуванчиков. Но была дурная слава у этих цветов: не срывали их на букеты и в дом не впускали.

Гоша приволок маленькую, уже третью с утра, слил половину в стакан, по обыкновению шутиливо перекрестился: «Ну!.. – опрокинул, поставил. – Не поймите меня превратно: я вчерась

тоже с супругой поссорился. Закусить можно? С вашего разрешения... – благодарно, картинно сложил красноватые лапы на спечовке, начал выхватывать прямо из котелка, остановился: – Поймите меня правильно: если не будете есть, я доем? Спасибо. Надеюсь, я с вами вполне корректно? Сурьезно... Са-шель, я вас уважаю, но вот то, что вы спички всегда на пол бросаете, некультурно!.. К тому же окурки. Геркулес... – зачерпнул ложку больничной каши, – вот скажи мне, Саша, почему это многие не любят геркулес? Я лично его очень уважаю. – Слил из четвертинки остатки в стакан, поцеловал донышко бутылки: – Тца!.. девять копеек!» – семечко, из которого вырастет новая маленькая.

Утром шел я в больницу, и не шли ноги. Дверь нашел в кабинет и представился, как преставился: «Я отец Леры Лобановой». Первый сговор за твоей спиной, доченька. Садись. Сажусь – чтобы встать: «Вам придется в Онкологический институт». Вот что нес я тебе, будто воду живую. А не то, что таили они от меня вздохами. Шел, искал и не видел – много, часто нагорожено боксиков, и везде ребятишки, ребятишки. «Меж высоких хлебов затерялося небогатое наше село. Горе-горькое по свету шлялося и на нас невзначай набрело». А какое горе? Чужой человек, прохожий, удавился. Теперь бы такого не сказали. И не напечатали. Доченька... – увидел в уголке виварного закутка, за игрушечным столиком – сидела, обедала.

– Папа?.. – испуганно вскинула свои вишенки. Встала. Такая прелестная. Я не вру, не вру! Я не слеп, не пристрастен. Без халата, в рубашонке длинной, белой, казенной. Лицо загорелое, на белках мокро мерцают черные райки. Волосы густые, мальчишные, отливают молодым каштаном. Никогда, никогда, доченька, я не видел тебя красивее. – Папа, заberi меня отсюда... – губы яркие широко распустились, надломаясь уголками вниз. – Па-па... возьми-и... хочу домой... к ма-ме... Тут так плохо!.. Все крича-ат, плачут... Вот он... – кивнула на соседа. А я и не видел – кровать. В том же боксе. И бледный мальчонка. – Он, знаешь, как плачет... – жарко шептала в склоненное ухо. – Ему уже две операции сделали. Мне сестричка сказала. А я его ночью встаю и укладываю. Покачаю, он и уснет.

– Умница... Что же ты не ешь? Мама велела тебя подстричь, а я забыл ножницы.

– Не надо, папа..., – так взросло сказала и волосы убрала со лба. Для школы косы готовили. И мгновенно другим голосом, полушепотом: – Папа, а у той девочки... во-он той, у нее, знаешь, что? – придвинулась, отчеканила страшным шепотом: – Сотрясение мозгов было. Со шкафа упала, ха-ха-ха!.. – и опять резко, с ужасом: – Папа, а сотрясение мозог это очень больно?

Принес ножницы, извлек огрызок своей расчески, пригладил волосы, слитные, скрипучие, скользкие. Дамским мастером быть бы мне, как Лине: ведь не раз, экономя время да рубль, прежде стриг и тебя, и маму. Кое-как полоконно обкорнал и в бумагу (Тамара велела) спрятал. «Зачем тебе, папа?» – с интересом глядела. Мы и прежде в иной год собирали. Чтобы цвет нам хранили. И все остальное. «Маме покажу». – «Ги!.. а что, разве она не видела?» Вышел, куда-то побрел. Вот когда я понял черное солнце Григория Мелехова. Черным дегтем растеклось по мостовым, тротуарам. Потом хуже было: лилось желто-белым гноем, но черным было тогда, в тот день.

Вечером сказала Тамара: «Не хочу в Онкологический». – «Я тоже. Давай Лине позвоним, посоветуемся». И услышал привычно ошпаренное: «Хорошо, хорошо!.. Давай завтра сходим к Зое Ивановне, она онколог и всех их знает».

Пришли. «Ну, вот что... – горестно выслушав нас, как бассист, разогнала пред собой руками морщинки на скатерти. – Вы правы, что не хотите туда, на Песочную. Конечно, там отделение новое, детское и специальное, но вся беда в том, что там работают сопляки. То есть, они хорошие парни... – спохватилась коллега парней, – но опыт есть опыт, тем более, если речь идет о ребенке. Тут вот еще что: там, на Песочной, есть детское отделение, но нет урологического. Оно у нас, на Чайковского. Но у нас нет детского отделения. Зато есть два лучших уролога в городе. Одна в отпуске, а вторая только что вернулась с юга. Фамилия ее

Калинина. Я с ней переговорю, но вы и сами звоните, скажите, что от меня. Держитесь!..» – проводила меня сочувственным, далеко-далеко понимающим взглядом.

И еще день, другой, третий. Нет Калининой, нет. Вечер теплый, туманный, мы сидим с Линой во дворе онкоддома, ведомственного, жилого, ждем, сказали: появится. Мальчишки наяривают в пинг-понг, распаляются, хвастают. А в ушах Тамарин умоляющий голос: «Съезди, постой там, прошу тебя! Мы все тянем, тянем, разве ты не видишь, какая Лерочка вялая, бледная. Ну, давай в Песочную, в Педиатрический, но надо же что-то делать!» Опустел двор, то там, то здесь дрогнет окно, провалится в темноту, залоснится бутылочным гляncем. Вот и гимн отгремел из чьего-то окна. Цок-цок... женщина, высокая, в ту парадную!..

– Давай на лестнице подойдем, – шепчет Лина и громко: – Людмила Петровна?..

– Да-а?.. – пролился сверху приветливый свежий голос. И, уже на кухне: – Так-к, слушаю вас? – ловко, смаху, будто пропустив под собой гимнастического коня, уселась на табурет. А глаза наши видят, всегда видят, не закажешь и в страшном. И видел, что с юга, что загар пооблез со скуластых щек, но запястья еще бронзовеют нестерто. Лицо сильное, повадка размашистая, улыбка широкая, вольная, свежая – ну, такая, какая и должна быть лет в сорок пять.

– У меня несчастье...

– Вы больны? – так вот отчего она переводила глаза с одного на другого: кто начнет *излагать*.

– Эх, если б я... хуже: у меня дочь больна. – и кладу, все кладу на стол, пока что кухонный.

– Но, понимаете... – улыбнулась, сузив плечи, – не вижу, чем я могу быть полезна вам?

– Как? Ведь вы же уролог.

– Хм... Да, но – ребенок. Там же все такое крохотное. И совсем другой инструмент.

– Что же нам делать? – понуро уронил голову. – На Песочной нет урологов, в городской больнице онкологов, как же быть? – размышлялось тоскливо вслух.

– Да, если бы, конечно, удалось уговорить в городском диспансере...

Это и была та соломинка... Лина за нее, я за Лину...

Мы ведем тебя по Чайковского, и когтит эта улица давним воспоминанием. Года три назад ехал я с тобой на троллейбусе мимо этой улицы. «Следующая – улица Жуковского», – объявляет водитель. «Чуковского?» – подняла глаза. Нет, смеюсь, Жуковского, был поэт такой. «Следующая – Чайковского». – «Чуковского?» – опять поглядела. А сейчас идешь и не спрашиваешь, смотришь на маму.

Однажды... мы вели дневники, едва ли не с первых дней, и 4 декабря 1960 года, пяти месяцев от роду, стоит Тамарина запись: «Сегодня я пошла в баню, час пятнадцать не была дома. Меня встретила с восторгом, и когда я стала ее кормить, то каждые три секунды отрывалась, чтобы посмотреть на меня и восторженно смеялась громко от радости». Помню, помню: на диване (старый матрас, водруженный на чурки), как всегда в час кормления, расположилась Тамара. На коленях сверточек – ребенок, откидывается, захлебывается от смеха, прикикает к груди и... не может. А Тамара смеется и плачет, головой мотает (руки заняты), стряхивает слезы: «Ну, ешь, ешь, глупенькая, что, что?.. Мама, да? Мама...» – темно-влажные волосы шатром рассыпаются над беззубым личиком, мокрые полосы на банных щеках, нестерпимо синее пламя глаз.

Счастье видишь, лишь оглянувшись назад. Как почувствуешь, если купаешься в нем. Но в такие минуты захлестывало. Понимал, страшился и мысли о том, что вот это и есть счастье. Лишь однажды (горько вспомнить) вырвалось: «Ну, ты счастлива?» Улыбнулась, подумала, виновато пожала плечами: «Да, конечно... только бы денег чуточку побольше». Когда ждали, говорила раздумчиво: «Если девочка будет, наряжать ее стану». А теперь вспоминается первый год, самый трудный, самый счастливый: «Помнишь, на пуговички у нас денег не было для кофтенки, которую я Лерочке сшила. Со старых рубашек срезала. Как одеты мы тогда были! – разглядывала давнишние фотографии. – Смотри, кофта какая. И ты тоже.

А доченька... помнишь, когда она только-только пошла, мне и выпустить ее не в чем было. Из ползунков старых штанишки сделала, обрезала». М-да, одеты... а про лица молчим, даже больно их видеть – так и хлещут каким-то чужим уже счастьем. Толстомордый родитель, мать с лицом озаренным, и ты, человек.

Широкий лестничный марш, и навстречу, сверху, как ангел – Людмила Петровна. Ух, ты какая!.. Один взгляд на нее и – верю! Теперь окончательно. В белом халате, высокая, статная, загорелая, излучает что-то твердое, властное и полётистое. И после осмотра:

– Ну, вот и мы!.. – широко, до ушей осветилась. – Она у вас умница. Ну, вы... Лерочка, иди, погуляй с тетей Линой. Это ничего, Линочка, что я вас так?..

– Что вы, что вы, Людмила Петровна!..

Погуляйте... – сползала улыбка, улыбка онколога. И ушла окончательно вслед за тобой:

– Ну!... – вздохнула. – Что вам сказать? Я буду говорить прямо?.. – умно блеснули очки.

– Да, да!.. Конечно!.. – дуэтом. И бегло друг другу в глаза.

– Опухоль... И – большая. Очень! Все верно: твердая, гладкая. Похоже, что почка. Хотя и высоковатая. Не исключено, что и гидронефроз. Я бы, конечно, прооперировала, но – ребенок!...

– Людмила Петровна!..

– Ну, ладно, уж коли пришли, не бросать же вас. Так!.. Есть один путь... – и уже через час: – В общем, так – кладут. Только надо кое-какие формальности. И потом ждать места. И пускай ходит в школу. Чтобы не травмировать.

И настал день рентгена. Это тоже матрешка: и в большом страхе гнездится еще страх. И опять летяще, размашисто ниспускалась на нас по царственной лестнице белым ангелом, улыбаясь, но дрожим уж от этих белых зубов: «Ну, скажу я вам – чудеса!..» – «Неужели?!» – не веря ни ей, ни себе, переглянулись с Тamarой. «Почки... – широко развела руки и улыбку, – нормальные. Никаких изменений!.. – и разом потухла: – Теперь надо проверить кишечник. Денька два отдохнуть между рентгенами». – «А так... ничего не видно?» – «Нет, это не просматривается».

Звезды просматриваются, это прощупывается. А с кишечником что-то задерживалось. Вдруг из черного хода, откуда выходим во дворик гулять, выбрасывает Зою Ивановну. Бледно-мелкое лицо ее озабочено, темные глаза сумрачны. Но с чем же она? Говорит, что профессор смотрел Леру. Шеф-уролог? «Нет, профессор Малышев. Он тут приезжал консультировать больного, и Людмила его попросила: раньше он был педиатром. Они соседи по дому, она его хорошо знает. – и вдруг: – А рентген ничего не показал. Все чисто. Я очень боялась за кишечник». – «А что, это хуже?» – «Да. А теперь не знаю, может, забрюшинно».

Калинина тоже озабочена, но дружим:

– Ума не приложу, кого же пригласить. – (А дни идут, уже перевалило за двадцатое). И вот: – Ну, я договорилась! С профессором Малышевым. Поверьте мне, с плохим я бы сама не стала. И с детьми он долго работал, а это важно. В общем, дотерпите уж до понедельника. Двадцать пятого. Вы должны заехать за нами на машине и... с богом!.. – губы распустились и, будто убежавшее молоко, хлынула улыбка.

Двадцать пятого я работаю. Поменялся. Двадцать четвертое, вечер, тихо, тепло. Скоро можно гасить котел. Только что, осадив такси, прибыла Лина. Вчера она встретила в театре с Калининой («устроила» той два билета в Мариинку). Впечатления сыплются из нее сваркой – обжигают. И какой Малышев (по слухам) хороший, и какое платье было на Людмиле, и какой муж при ней состоял. Одного лишь не додает. Того, что выдаст немного позднее. Там, в театре, метнула Калинина: «Войти мы войдем, а вот выйдем ли?» – «О чем вы, Людмила Петровна?» – «О чем? А вы что, не знаете про такое слово: неоперабельно. Достаточно прорасти в крупный сосуд и...» – уж она-то всякого навидалась.

Мы сидим на скамейке с Линой в небольшом садике тубдиспансера. Мы сидим под тревожно щемящими листьями, под пронзительным угольем звезд. В полутьме, затаившейся, молчаливой, в мышином шуршании подымается первая Веха. А казалось недавно – верстовыми столбами, частоколом будут скакать за тобой годы. Мимо, мимо – в юность, девичество, замуж. Как темно в опустелом саду. Я гляжу и не вижу, как встает, подымается плавно из тьмы Веха. Чьи-то тени бесшумно снуют, что-то двигается, что-то уходит, приближается новое, громоздится пугающе: то на сцене меняют для нас декорации. Завтра... завтра... А на небе все то же: в бархатном звездном чертоге кротко спит Боженька. Еле-еле колыхнется борода его сивая, млечная. Ты все знаешь, Ты один.

Утро, дождичек – серенький, мозглый бусенец. И деревья, что мокрые курицы, понуро опущены. Трамвай мотается, лязгает. «Как кони медленно ступают. Как мало в фонарях огня. Чужие люди, верно, знают, куда везут они меня». У ворот машина, из ворот – двое. Он и она. «Знакомьтесь...» – перламутрово улыбаясь, говорит Людмила. Тискаю руку – ту самую. Что ж, дай Бог! А лицо округлое, простовато мясистое. Шляпа. Не идет. Секундное милое светское замешательство – как усаживаться, но ливрейно распахиваю дверцу – на заднее. Им болтать, мне ловить осколки их светского разговора. Скользящий диабаз летит под капот – серая пасть машины глотает тяжелые темно-серые эти буханки. Не она – я глотаю, давлюсь. А тебе бы, Саша, по сторонам не мешало: еще будешь и будешь ты здесь о торцы эти биться распято.

– Как ваша дача?.. – слышится почтительно насмешливый Людмилин говорок.

– Ох, вы знаете... – непритворно вздыхает тонковатый, но мягкий, приятный голос, – столько мороки с ней.

– Ну, вы же хотите особняк... – рассыпчато, с ядом.

– Какой там особняк!.. Но поймите: и тому надо, и этому, и ничего нет. Всех просишь, всем надо кланяться.

Я сижу, сгорбясь, и вижу все это *куне* (себя, их, шофера) со стороны – с твоей стороны, доченька. Почему? За что эти люди и твой папка сговорились против тебя? Не пройдет и часа, как эти мясисто красивые, сильные руки, что лежат на портфеле с инструментом, возьмут крохотный блестящий ножичек и...

И закрываю глаза, думаю, что еще здесь, по дороге, надо мне найти в этой милой беседе щелочку, чтобы вклиниться в этот стык. Как раз с тем, чего мы дома больше всего опасались. То, что Лина мне еще не сказала. И что решено нами. Будто мы еще можем что-то решать. Виктор Иванович... – оборачиваюсь.

– Я, конечно, все понимаю и готов ко всему, но у нас с женой к вам просьба. Если нельзя будет все, уберите хоть то, что возможно.

– Ну... – растерянно глянул на Людмилу, – вы же знаете наши возможности... – грустно покачал головой.

– Я понимаю... – а сам обмер: наши возможности. – Но все-таки... Мы еще тогда попробуем химией.

Промолчали. Хирурги, они хорошо знали цену химии. Нож – вот это земная ось.

– Ну, Александр Михайлович, мы пошли. Ругайте нас!.. – улыбнулась Калинина.

И пошел отсчет – сердцем, горячечной мыслью. «Успокойся, возьми себя в руки. И не кури так много», – попеняла Тамара, каменно сидя все над той же страницей журнала. Час, другой... Пошел третий.

– Сашка!.. – неожиданно запаленно, заплаканно и сияюще врывается Лина, которая уж никак не могла быть здесь. – Тамарочка, милая!.. Все вырезали!.. Радикально!.. Я в полдевятого уже была там, в операционной. Ну, возле. Они сбежались со всей больницы, говорят, что еще не видели, чтобы так оперировал. Блестяще!!!

Но – что, что?! – молча встали мы.

– Зоя вышла ко мне. И говорит, что профессор сказал, что по виду доброкачественная, но надо еще анализ.

Анализ?.. Срочную биопсию делают сразу. – Это я уже знал.

– Ну, я там не понимаю, я же знаю, как ты к моей восторженности относишься, и передаю так, как мне сказали. Слово в слово.

Распахнулись двери там, наверху, и в зеркале (оно во всю стену шло над лестницей, где под одним маршем сидели мы) увидели, как вниз по ступенькам быстро скатывалась Зоя Ивановна. И совсем не разумом, не словами – черным страхом своим успел я отметить, что не смотрит она на нас, глаза свои под ноги стелет. Невеселая, сжавшаяся, готовая к встрече. Вы белье стирали в корыте? Так и Лина за минуту из черного, серого в наших душах взбила мыльную нежную гору перламутровых пузырей. Вот по ним-то и шла Зоя Ивановна. Лопались, с тихим всхлипом обдавали мелкими брызгами. Очень холодными.

Деловито, сумрачно, но со слабой улыбкой подходила к нам. Все мы видели, поняли все, но вскопили, тянемся: подтверди, обнадежь! Подтвердила. Все так. И чего-то не так.

– Ну, я вам скажу, я многих видела, но таких рук!.. Не знаю, кто бы мог сделать лучше. Вы знаете нашу Людмилу, она сама на кого хочешь крикнет, а тут он... был там момент – кровь хлестала...

Тамара прикрыла глаза.

– ...стал кричать, как на девчонку. И она ничего. Из-зумительно! – вот об этом она, загораюсь, с восторгом. Как Лина.

А биопсия? – испытующе глянул я, совсем не желая прозреть то, что не додает. «Видите ли... – а глаза в сторону, вниз, – скажу вам по секрету: нашему гистологу верить нельзя. Вот посмотрит профессор Ковригин, наш консультант... Когда ответ? Ну, дней через пять, семь».

И последние пузыри лопались. Не лгала Лина, но – окраска. И вот тут явилась Людмила, стремительно, разгоряченно: «Ну, знаете, нам сам Бог его послал! Я слышала, что прекрасный специалист, но та-ак работать! Так виртуозно. Я подняла глаза во время работы, вижу – битком. Кто-то плачет. Хотела их шугануть, а, ладно! Такое нечасто увидишь. – (Да, не часто. Такого ребенка в таком обществе). – Сейчас, сейчас профессор придет, мы вас позовем, и он вам сам все скажет.

Радикально... по виду... гистолог плохой. Потому плохой, что плохое нашел? Но Людмила сияет. Что ж, такой виртуоз. И вошли мы. Сколько их!.. И стоят, и сидят, и в тесноте переминаются. Круглый стол, чай в казенных, но тонких стаканах, колбаса, булка. Профессор сидит за столом. Щеки сизо пылают, лоб влажный.

– Была удалена большая опухоль в забрюшинном пространстве... – буднично начал. Как в справках. И пошло гладкой латынью, которую обычному смертному и с разбегу не выговорить. Он все держит коричнево-красный бутерброд в правой руке, левая машинально охватывает янтарный цилиндр и отдергивается: чай горяч. И парок над стаканом. Но где же «по виду»?

– А как вы считаете, профессор, прогноз? – выдавил я где-то когда-то услышанное.

– Видите ли, все будет зависеть от гистологии, но повторяю: радикальное удаление, незаинтересованность лимфатических узлов, отсутствие видимых изменений позволяют надеяться... – и впервые он улыбнулся, устало, беспомощно. И понятна мне стала эта улыбка: «Вы же знаете наши возможности».

Надо уходить. Но как, если все... начинается сызнова. Чай не жжет – пальцы плотно легли на тонкое, прочерченное матовыми виньетками стекло. Бутерброд как будто подсох, побурел. А ты еще там, на столе. Ничего не слышишь, не видишь, не знаешь. Поблагодарили, вышли, и Калинина следом. Смотрит, молчит, улыбается. Тамара поцеловала, отошла, отвернулась, выхватила платочек. «Тама-ара Федоровна-а... ну, что вы, держитесь...» – «Ладно... ладно,

из-вините...» – шепотом. И опять мы на том же жестком диванчике под лесенкой – ждем, когда разрешат нам увидеть тебя.

– Альсан Михалыч, Тамара Федоровна!.. Вот так у нас всегда – лифт испортился... – улыбаясь, появилась Калинина. – Сейчас Лерочку понесут по этой лестнице.

И сразу же голоса сверху. Двое белозадо выпячиваются из дверей. Каталка. И на ней... ты ли, доченька. Ни кровиночки на таком твоём и таком не твоём лице. «Хлестала...» Чуть-чуть приоткрылись глаза.

Когда было месяца полтора, набрел однажды бродячий фотограф на нас, пару снимочков сделал. Лежишь, смотришь, а глазенки пуговичные, несмышленные, плоские. Не в обиду тебе скажу, но у кошки и то умнее. Вот теперь такие же были. Но блуждали: кого-то им надо было. Маму, маму, конечно. Но остановились на мне. Что-то сдвинулось, отразилось: «Па-па...» – шевельнулись запекшиеся. «Я, доченька, я с тобой!..» – «Па-па... – с трудом, – а где мама?..» – «Так-к!.. пошли!..» – это мне.

И пошла наша новая жизнь. Без подходов – с налета. «Пи-ить...» – «Губы можно немножко смочить...» – просветила сестра. «Ну, давай, я проведу ваткой, а ты облизнешь, хорошо?» Веки прикрыла два раза: поняла. И опять: «Пить... пить... маму...» Обмакнул ватку, отжал ватку, по губам провел. Заусенцы цепляются. Языком горящим, наждачным лижешь ватку – может, что-нибудь выщедится.

Сколько лет человек привыкает? Я привык часа за два – живот прижимать при рвоте, поддерживать, воронкой тряпки пристраивать у головы, скатившейся набок. Потянулась ночь, Тамара сменила меня у постели, вышел в коридор, лег на кушетке – не спалось, не лежалось. Вспомнил давнее. Года три тебе было, я пришел с ночного дежурства из цеха литографии, где служил сторожем, и услышал: «Папа, ты поспал на аботе? А тебе не было холодно? А ты чем укрывался?» – «Ватником». – «А он что умеет делать?»

Дни и ночи смешались, но уже подсели к кровати заботы прекрасные – как сварганить куриный бульон, яйцо всмятку, а еще шоколада дольку, того, что всегда для тебя, диатезной, был за колючей проволокой. «Запретный плод сладок». Истины оттого, наверное, и становятся ими, что во многом истинны. И, наверное, прав Оскар Уайльд: «Самый лучший способ избавиться от искушения – поддаться ему». Диатез – вот и все наши бывшие беды, не считая обыкновенных простуд.

В эти дни, в ожидании гистологии, мы узнали кое-какие подробности. Калинина прямо сказала про Малышева: «Если бы не он, мы бы просто зашили. – и прочтя что-то в наших глазах, утвердила: – И были бы правы. Да, да, поймите, этого мы не умеем. А он работает на сердце, на крупных сосудах. Он сумел отойти от аорты. Он привез специальный инструмент. – Тот потертый портфельчик, на котором тогда, в такси, покоил свои крупные, такие красивые руки. И, когда говорили они о даче, эти руки очень смущались. – И кроме всего прочего – виртуоз, каких мало. Из-зумительный!..»

И уходит, а вместо нее является вечер, и с ним Исламбек Харитонович. Как-то в полночь сидел я на диванчике в коридоре, уже было не спато порядочно, и чего-то зашло сердце. Шаги... Подобрался я: кто-то чужой. Ага, рыжеусый, восточного вида химиотерапевт. Мы немножко знакомы – он дежурил в одну из ночей. Не шумный, покойный, но струился воздух вокруг него, как над солнечной далью в знойный день – коньяками, казалось, сигаретами, женщинами. Он зашел тогда, на минутку присел на кровать, пульс пощупал, ладонью ладошку мягко прихлопнул: все хорошо. А сейчас я вскочил – поздороваться. «Сидите, сидите... – глянул пристально, на секунду замешкался и затем – эдак властно, решенно: – Идемте со мной».

Это еще зачем? Но, может, знает уже гистологию? Нет, не скажет. Коридорами, к лестнице, распахнул предо мною дверь: – Входите, это ординаторская, я сегодня дежурю. Так вы располагайтесь. Свободно... – из-под желто-пивных усов пробилась пеной улыбка. – Нет, нет, обо мне не беспокойтесь: есть еще ординаторская, на том отделении, где я работаю. Вот диван,

чайник и плитка. Одежда я сейчас принесу. Вам двух хватит?» – «Ну, что вы, Исламбек Харитонович!» – «Не – что, а располагайтесь. Да, вот еще сигареты. Вы, кажется, курите... – хитро прищурился, вышел, вернулся. – Вот вам сахар еще. А что же вы плитку не включили?» – «Спасибо, я не хочу. Знаете, раз уж вы так добры к нам, можно я жену сюда позову – пусть она. Мне все равно не уснуть».

Я уже успел навести о нем справки. «Ну, вы даже не представляете, какой он внимательный, – говорит наша дворовая знакомая женщина. – Такой добрый, сердечный. Он, если узнает, что есть больной, к которому никто не ходит, а их ведь много здесь, приезжих, так он покупает им передачи и старается незаметно отдать, через регистратуру».

– Я ухожу... – говорит он мне тихо за дверью, – вот ключ от кабинета профессора. Идемте, идемте... – не слушает моих отговорок. – А в ординаторской занято. Перестаньте благодарить, здесь все равно никого нет. А утром отдадите ключ уборщице. Вот диван, одеяло. Чаю, правда, здесь нет. Держите... – протянул ключ.

Я взял. И долго не мог удержать улыбки. Но опять не спалось. Диван, два стола, графин, умывальник, фигурные окна, и тот неживой свет с улицы, в котором двухкопеечная монета становится гривенником. Это я, двухкопеечный, здесь в кабинете. А ты, доченька, так и не узнала, где работает твой папка. Правда, когда подросла, о чем-то догадывалась, допытывалась: «Папа, а где ты работаешь? В редакции? В маминой? В папиной? А какая это редакция – радио?»

– Да... – мысленно благодарил за подсказку. – А почему ты об этом спрашиваешь?

– А меня в детском саду спрашивают. А я говорю: журналист. Я правильно говорю, папа? – с неизъяснимым лукавством поглядывала: ты хочешь, чтобы я так говорила, я говорю, хотя: – Папа, а ты правда журналист?

– Я кентавр, доченька.

– Ты шутишь? А что такое кентавр?

– Человеко-лошадь.

– Ги!... – забегала. – Человеко-лошадь!.. человеко-лошадь!.. Дай я на тебе покатаюсь. А как это: у него чего, голова лошадовая, а ноги человеческие?

Пришлось добывать «Мифы древней Греции». Вот уж это для всех, для больших и малых – вечное.

А во мне второй день нет-нет да вдруг заведет давний оперный баритон: «Ты внимаешь, вниз склонив головку, очи опустив, ты внемлешь ответу...»

– Читай... – склонив головку, просишь ты, не слыша этой «Страшной минуты».

А баритон все выводит с таким чрезмерным чувством: «Я приговор свой жду, я жду решения!» Сегодня, сегодня они скажут, что же сказала им гистология. «Иль нож ты мне в сердце вонзишь, иль р-рай мне откроешь!» Ох, уж эти влюбленные: нож, рай – пачкуны амуровы.

– Ну, папка, читай...

А что тут читать, муть какая-то, индонезийские сказки. Вот про няню твою давнишнюю и недолгую Каву, как ты ее величала, охотно бы почитал тебе дневниковые записи. Есть там и про чтение у Клавдии мысль замечательная: «А чтение ничего полезного не дает, только головы да глазам больно. Я бы ону (ее) взяла... – схватила книжку, – да в печь. А у вас и печи-то нету. – Подумала, помолчала с минуту, вспомнила: – Как приехала в Ленинград, так наклейки любила читать. У вас на дому столько всяких висит». – «Ты и наше так же прочла?...» – глупо спросил. «Ага, а то как еще? А вы такой страшный мне показались!» – обрадовалась. «Почему?» – «Не знаю, волос мало, а смотрите весело».

И вот ниспускается на нас Людмила Петровна. Голос хлесткий, веселый, да уж знали мы цену онко-голосу: она и матери скажет тем же, не дрогнет.

– Ну, так вот, давайте-ка сядем, вот та-ак... – вздохнула. – Экспресс-гистология не дала ясного ответа. Были разночтения, были, прямо скажу, подозрительные клетки. Я бы могла вам назвать, но стоит ли? В общем, опухоль... доброкачественная.

Доченька, как я сейчас прибегу и в глаза тебе ясно-ясно гляну, уже без утайки – да здравствуют разговоры!.. Такие!...

– Мы долго смотрели и пришли к выводу, что это симпатобластома.

«Что?! Бластома?.. –дохнуло в душе холодом. – Это же... что-то я слышал...» – взглянул на Тамару, и глаза ее тоже подмерзли.

– Таково наше общее мнение. Вот!.. – улыбнулась и снова свела губы гармошкой. – Но опухоли эти очень коварные. Будучи по своей гистологии доброкачественными, они клинически ведут себя... в общем, плохо – рецидивируют.

– Как же так?

– Так!.. Виктор Иванович Малышев, когда я ему сказала, обрадовался: ну, говорит, я по семь раз вырезал.

– На одном месте?

– Да!.. – широко улыбнулась.

– Но... какая же это тогда?.. – «доброкачественная?»

– Бывает, Александр Михайлович, – вздохнула и дружески подняла потеплевшие глаза. – О, вы еще не знаете, чего только не бывает. И вот теперь мы должны вместе подумать. Я узнавала, где и у кого только могла, говорила со всеми китами, и никто ничего не может сказать. Одни говорят, надо делать облучение живота, другие говорят: не портите ребенка. Я прописала профилактически эндоксан в таблетках.

«Эндоксан?!» – мрачно переглянулись с Тамарой: ведь это она его принимала, ведь это – от э т о г о!

Мы что слышим? То, что хотим услышать. Если это хоть отчасти возможно. Семь раз «бластома, коварная, эндоксан» – отпрянули, притаились, а шагнула вперед «доброкачественная».

А пока, пока что мы едем домой. Я забыл рассказать, как хорошие, добрые люди помогали нам; я забыл рассказать... впрочем, эта возможность у нас еще будет, а сейчас: вот парадный подъезд, и стоит перед ним машина. Ну, прощаемся!.. Всем спасибо!.. Где б вот так, безрежимно, по-домашнему, мы смогли б отбыть это время? Всем спасибо! А вам – и зашитым, и радикальным – чуда вам!.. всем, всем!!! Прощайте, прощайте и дай Бог никогда, никогда не увидаться.

Влипли в переплеты оконных рам мучнистые лица, расплющились о стекла, ждут. Идешь, хворостиночка легкая, еле-еле на тонких бамбуковых. Колготки, что месяц назад туго входили, слабо морщат, обвисли. Оборачиваешься и... распахиваются окна в дождливый холодный октябрь: «Лерочка!.. Смотри, не возвращайся! Будь здорова, деточка!..» Сколько их... Машут, кричат, а в глазах так много, что и словом не стоит тревожить. У комарика лапки толще, чем та паутинка, на которой висит, перекручивается, трется об острые камни наше счастье, наша надежда, но ведь может удача взять тебя в белые руки, унести от беды.

Часть вторая

Вот и кончилось первое действие. Наскучавшись досыта, загремела стульями публика, задвигалась к выходу. Курят, трудятся над пирожными, далеко вперед (не обсыпаться б) вытаскивают голову. А иные каменно исчезают в дверях, где застенчиво выведено: 00. Да, ноль-ноль еще в наших гаданиях. Антракт!.. И, понятно, в анфиладах фойе закручивается шаркающее, разговаривающее, разглядывающее кольцо: это тоже театр, каждый здесь и актер, и зритель. Вот за это тоже любят театр – тротуар, бенуар, будуар.

А мы, доченька, остаемся на сцене. Я не знаю, не знаю, чего еще ждут они в зале, когда смотрят на тяжелые жирные складки занавеса, но скучна, страшна нам изнанка его. Мы одни – ты, мама, я, телефон. Ты лежишь и, наверно, о чем-то думаешь, смотришь, как мама наспех шьет для тебя полотняный бандаж – чтоб тебе не с полотенцем ходить. Телефон молчит, а вон тот, лысоватый, с физиономией мелкого лавочника, смутно чувствует, как вокруг что-то движется, появляется, куда-то проваливается.

Он когда-то даже в театре бывал, даже пару пьес сотворил, понимает: меняются декорации. Но того не ведает, что скоро, скоро предстоит ему самому переставить, решить. И начнет метаться и – обычное дело – только напортит. Но пока что он драит щелоком ванну – чтоб тебя купать, еще стоя, под душем. Вот и вымылись, мама насухо обтирает тебя, натягивает ночную рубашку, потом желтую, очень странную фланелевую кофтенку: от года до семи лет росла она вместе с тобой и всегда была впору. Вот теперь папаше нести в кровать. Он совсем забыл, что занавес уже поднят, и, ставя тебя на кровать, успевает на миг замереть, на секунду прижаться к тебе. На одно лишь мгновение – так, что даже ты не успела заметить. Ты, да не Тот. Ах, какие же умные у него глаза, добрые, голубые, всеведующие. Но почему он жует? Еще не поужинал? И что он жует, этот старый Сатурн?

Но на сцене так тихо, покойно, тепло. Да еще, как в путном современном театре, сурдинным подтекстом дудит музыка. Что это их вдруг там, на радио, потянуло на классику, как на английскую соль? Чистозвонный Моцарт – подарочком, и Тамара, осторожно оттирая спиртом присохший повязочный клей, вполуха блаженно ловит соль-минорную симфонию, твои нехитрые пересуды и в глаза твои, что скользят с испугом по марле над швом, льет умиротворяющий, любящий свет. Ничего ей не надо, ни телевизора, ни славы, ни платьев, ни дачи, ни мужа – только б так день-деньской быть при тебе. Но помнит, ох, как помнит, что за дверью, когда ты уснешь, ждут ее Разговоры.

С лиц (как только уснула) шелухой облезают улыбки, и по-прежнему загнанно морщится та же мысль: ни Людмила Петровна, ни сами киты ничего не смогли посоветовать. Кроме: надо ехать в Москву. Там живет юный пионер химиотерапии семидесятилетний Лактионов, там, даст Бог, отыщутся и другие. Это так высоко, что подумать боязно, и решается этот папаша просить на подмогу Лину. Слегка поурчав, соглашается добрый наш ангел-бульдозер.

Было рано, пасмурно и особенно мерзко от гудящей вокзально-метрошной толпы. По-московски скачущая, по-московски пружинящая, по-московски молчаливая, завивалась тугим восьмирядным жгутом к эскалаторам, плавно, проваливалась, плавно выныривала. Кем-то заведенная и потому, наверное, беспощадная, неостановимая, безразличная. А бывало, и меня в ней несло, но теперь отбрасывало к стенкам, к углам, где высвечивались золотистые телефонные соты.

Сперва надлежало дозвониться в Институт экспериментальной онкологии, где витал богоравный Лактионов. Что бы стал я делать без Лины? Проквасил бы время, по инстанциям робко пополз, а так уронил вожжи, пристроился на запятках – авось, вывезет. И пошло: «Лактионов будет? Спасибо, Сашуня, вперед!»

Он стоит, отступя от шоссе, Институт этот, с завитушками полукруглых подъездов, так что человеку есть время подумать, пока не толкнет он (быть может, последний раз) эти двери. Вестибюль скромный, рациональный, как этот недуг. Вешалки, гардеробщики, которые могут даже пальто вам вернуть, но понадобится ли, товарищ? Это я так тягуче, паскудно смотрю, а Лина: пальто с плеч, клевок в зеркало, кивок мне и взлетает в лифте наверх. Нет ее, что-то долго для Лины. Но вот: «Ну, слушай!..» С секретаршей договорилась («Очень приятная девушка»), с заместителем побеседовала («Очень знающий дядька») и еще с несколькими. Все единодушны, как в нашем народном парламенте: говорить надо только с Шефом, и Он – примет. Я когда-то читал две-три лактионовских статьи (непреренно в «Правде»), сокрушающие всесильный недуг, и теперь старался представить его вживе да въяве. Очень редко имя и человек совпадают, не дwoятся. Почти всегда человек меньше своего знаменитого имени. Особенно это чувствуется в писателях. Настоящий писатель *в жизни* всегда меньше, обыденнее своих книг, плохой – умнее, значительнее.

– Так зачем вы пришли ко мне? – выслушав, живо передислоцировался в кожаном кресле седой, старчески одеревяневший, но даже в этой негибкости все еще моторный, таранящий академик. – Я занимаюсь разработкой новых препаратов... – оскорбленно встопорщил стальные усы. – Вам надо обратиться к химиотерапевту. Есть у нас в институте очень знающий человек – Карахан Александр Иванович. И потом к клиницистам. В Морозовскую больницу, к Льву Адамовичу Жирнову.

Коридоры, дверь: «Вот он, большелобый, тихий химик, перед опытом наморщил лоб. Книга – „Вся земля“ – выискивает имя – воскресить кого б?» Лицо его изморщинилось возле умных усталых глаз. И опять я свое: симпатобластома, доброкачественная. Смотрит. Как-то: «Нет, эндоксан в таблетках ничего не дает. Вы говорите, что радикально. Зачем же травить ребенка? Это же сильный яд. Рентген? Не знаю, это не моя епархия». – «Но, профессор, скажите по-человечески: что бы лично вы делали?»

Лично? Никогда не переходите на личности, потому что лично все мы хотим передоверить это другим.

– Лично я?.. – горько усмехнулся. – Ничего... – тихо вложил, глядя в упор. И пророкотал умудренно и грустно: – Положитесь на волю Божию.

– Но может же рецидив?

– Может. А может, и не будет.

Спасибо... большое спасибо... коридор, длинный, пустой. Что же делать?..

– Сашуня, так что? – разбудили меня.

– Тебе надо ехать домой. Спасибо за все.

– Сашка, давай к этому... ну, в Морозовскую, а?..

Одного я хочу – закурить, да нельзя: в ожидании гистологии дал обет – если доброкачественная, бросаю. Да, нельзя, а вот искать «Клинику №3» можно. В этом детском городке. Старинное двухэтажное здание из красного кирпича. В крохотном вестибюльчике сидя, стоя, жметесь человек шесть, ждут чего-то. Растерянно останавливаюсь, но привычным решительным кивком Лина тащит меня мимо всех в дверь.

Не успеваем войти, а она уже знает, что Лев Адамович здесь, только что закончил операцию, и леопардовое пальто ее уже по-хозяйски вытянулось на служебной вешалке-стойке. «Пошли!.. – чмокнув себя взглядом в зеркале и подправив прическу двинулась вглубь. Но мне страшно, мне бы лучше отпиться туда, на крыльцо. – Хорошо, хорошо, миленький...» – и уходит. А я выхожу на крыльцо.

Начинался день серенько, а сейчас небо нежное, акварельное. Уже насорило листьев на траву, на залатанные гудроновые дорожки. Но еще там, наверху, весело дрожат зеленые, желтые, бурые, красноватые. Вечные. Отчего ж вечные? Ведь им умирать, этим. Это нам они кажутся вечными, потому что знаем: будут другие, такие же неразличимые для нас, как и эти.

А они, поди, тоже посматривают на нас да завидуют: не один год, не одно лето землю топчем, их топчем.

– Сашка!... ну, где ты там пасешься?! Я все узнала! Идем!.. Он говорит: обязательно рентген делать. Непременно!.. И тогда полная гарантия. Такой мужик, о-у!.. Там еще был главный рентгенолог Москвы Парин. Ты его видел? Ну, как же, он только что ушел. Иван Михайлович Парин. Такой модный, стрижка короткая, костюм финский, о-у!.. Тоже профессор. Ну, ты подумай – вот мужики!.. Ну, пошли, пошли!..

Когда ранней весной небесные дворники вытряхивают из серых холстин остатки зазимнего снега; когда крупные сумасшедшие хлопья тяжело облепляют деревья, дороги и пешеходов, – белый воздух становится комковатым, свернувшимся молоком. Так и здесь было, в ординаторской, от халатов. «Вот, Лев Адамович, это отец...» – уже запросто, будто давнему карточному знакомцу представила Лина своего *б р а т а*. А профессора я выделил сразу: он сидел на диване, один, как бы чуточку отдаясь от других. Моложавый (для профессора), скромный, приятный. И страшный. «Сестра моя вам уже все рассказала, но я коротко повторю...»

Повторил. Симпатобластома (молчание), доброкачественная (оглушительное молчание: такого онколога они видят впервые, но все-таки вежливо уводят в сторонку глаза), удалена радикально (оживление в зале). «Кто оперировал? Малышев? А-а... – с уважением. – Я его знаю, прекрасный хирург. У вас выписка из истории болезни есть? – деловито, но без подхлеста спросил профессор. Пробежал, передал, и пошло по рукам над столом. – Ну, так вот что я вам скажу... Вот Валентин Иванович Колычев у нас как раз занимается этими болезнями. Если все убрано радикально и провести рентгенотерапию массированными дозами, то можно гарантировать большие шансы на успех».

– А сколько это – массированные? – будто что-то соображая в них.

– Шесть тысяч рентген, – как пирожное на прилавок, положил мне на сердце.

– Да, но сами же рентгенологи говорят: не портите ребенка.

– Это говорят те, которые с детьми не работают. А мы имеем дело только с детьми. Через Валентина Ивановича прошли десятки детей. И, если все было так, как у вашей девочки, то гарантии очень большие.

– Но профессор Карахан сказал...

– Знаю!.. Но поймите меня: так говорят люди, которые не сталкиваются с этим так тесно, как мы.

– Но если все убрано, то зачем же еще делать? Ведь это же вредно.

Легкое ядовитое дуновение шевельнуло халаты.

– Хм!.. – качнул темноволосой головой профессор: не каждый день ему попадались такие образованные онкологи. – Вот я только что с операции, допустим, я удалил все. Радикально! Но где же уверенность, что не остались микроскопические частицы. Мы их не видим, но они есть. А рентген убивает их. Не бойтесь... – неожиданно так мягко прорвалось у него, – поверьте мне, я сам отец и... хирург, я знаю: это единственное спасение.

«Что?! Спасение?»

– Но от рентгена при трехстах, кажется, умирают.

– Поймите, не организм облучается, а только одно место. Единственное, что может быть – к сорока годам у нее будет легкое искривление позвоночника.

Нет, нет, милый Лев Адамович, вы ошиблись: не было. И не будет. Так и останется – стрункой, до ста сорока.

– У вас в Ленинграде, в Педиатрическом институте работает Динст. Нет, не онколог, но старый, матерый волк, – славно так улыбнулся. – Опытнее его нет ни у нас, ни у вас. Нигде.

Я для чего ехал? Чтобы меня убедили. Рентген страшен, а что делать? «Пришла беда – отворяй ворота», – так, так, Лерочка, сказала твоя мама в тот первый день, шестого сентября,

только ночью, когда ты спала, когда головой билась о стенку, но, правда, тихонько – все же соседи.

И опять мы решаем вечерами с Тамарой неотвязное, неотступное. «Если ничего нет, зачем же мы будем облучать?» – размышляю вечером вслух. «Да, и что это даст? Неизвестно», – подхватывает Тамара. Мы молчим, и в молчании вызревает вывод. Готово, подношу руку, чтоб сорвать его: «Давай откажемся». – «Давай, гуленька, давай!.. – горячо, благодарно сияет Тамара. – Может, ничего и не будет». – «Конечно, а если... ну что ж, не прозеваем, будем Малышеву показывать». – «Да, да!»

Ну, сорвали. В четыре руки. До чего же он сладок – плод определенности. Сладок-то он сладок, да отчего ж поперек глотки встает? И (такое уж нам вечнозеленое дерево досталось) завязывается на нем новый фрукт. «У них там много детей?» – неожиданно спрашивает Тамара. И, оторвавшись на миг, видит он, что она тоже уставилась туда же – где, уже различимый среди голых ветвей, наливаясь, рдеет вызревающий плод. Оба видят, хорошо видят, что ядовит, не по-хорошему ярко, мухоморно красив, но он – вывод, решение. «Детей?.. Полно. Да, с тем же. Шестьдесят человек прооперированных. И всем рентген, сразу же». – «Малышев тоже может и не нащупать», уже шевельнулась туда же ее рука. «Да, хорошо, если на старом месте, а если к аорте? И так еле-еле от нее отошли».

На качелях: так да этак – никак. Не послушался я мудрого химика Карахана, а послушался умудренного хирурга Жирнова. Все решилось на другой день, вечером. Когда наконец-то отважился взглянуть на живот. От подвздошья, от «солнечного сплетения», до пупка шел шов и потом, словно детская птичка, взлетал вправо, под ребра. Красный, бугристый, с подсохшими струпьями. Так что же, на эту вот птичку еще одну класть? Семь раз?

Динст еще в отпуске, но есть его заместитель, Семенов. Молод, мил да застенчив. Тем пространнее запускаю я снова шарманку: «По разным странам я бродил, и мой сурок со мною. Врач радикально удалил, но сердце что-то ноет».

И этого я просвещаю, что симпатобластома у нас доброкачественная. Что ж, слушает он чрезвычайно заинтересованно: сразу видно, что такое он тоже слышит впервые. Так и должен по моим ветхим понятиям слушать врач. Отчего же не реагирует? Как положено: ступайте, не надо ничего делать! Напротив: так вы приводите, посмотрим, измерим вес, размеры. Да, да, вы сможете амбулаторно. Как он терпелив, но ведь я еще не решил, ты еще дома, ты еще даже готовишься снова идти в школу. Отчего же мама наряжает тебя на другой день в ставший отныне и во веки веков присутственный твой наряд: зеленая кофточка, коричневая юбка с бретельками, жакетик малиновый с белой строчкой по обшлагам? И послушно, задумчиво лицо твое милое, с затаенным приглядом: куда же еще? И столько наивности, той цветочной пыльцы, что положена детям. А наивность – кто ж не топчет ее. Только тот, кому лень. Иль такой же балдоня.

В первый раз мы прокладываем свой путь – на метро, на трамвае. Ты оглядываешься: незнакомое. Скоро, скоро станет постылым. Может, нам с тобой в бассейн? Вот стоит на углу, громоздится. Ох, как надо сюда, ведь я же не доучил тебя плавать.

Нет, бассейн, отойди и отстань, нам плескаться в другом, захлебнувшись: Ленинградский педиатрический институт. Вот он выдвинул на тихую улочку свой передний желтый редут. Забор ошетинился пиками, и одна глубоко, словно в тесто, вошла в накренившийся у калитки тополь, в морщинную крокодилью кожу его. Да еще у калитки улежали древние петербургские плиты, щербатые по краям, в середине гладко обкатанные. Сколько судеб ногами, ножищами, ножками было выбито здесь. Стерлось все. Как и наше теперь.

«Папа, а что это горит? – повела глазами на красный кругляш над дверьми. – Не входить! Почему там написано так?» – «Ну, пойдем...» – вынес Семенов из рентгенного мрака ободряющую улыбку. Ну, а я – по плечам виновато, нежно огладил и тебя подтолкнул туда: «Дядя добрый, иди...»

Может, добрый, да только у недоброй развилки разбил свой бивак, там, где и баба-яга не дерзнула б. Вышла скоро, жакетик на плечо в коридоре дотягивала, поделилась интересными впечатлениями: «Ха!.. погладил, начертил чего-то на животе. На весы поставил». – «Ну, так сразу же и начнем?» – над нами стоял Семенов. Я приехал, привез. Для того. Но ударило, все не верилось, что решимся, начнем. Ну, хотя б не сегодня!..

Но Семенов понял, что сдался: «Ты иди, Лерочка, вот туда, там тетя Лиза, она хорошая. – И мне: – Я все высчитал, будем семьдесят пять рад за сеанс. Сколько на рентгены? Ну, тысяча пять примерно за весь курс. Вы не беспокойтесь, я взял самый минимальный тубус».

Ты сидишь на кушетке, беседуешь с сестрой, невысокой, по-девичьи легкой женщиной. У нее живое, впалощекое, но румяное лицо с ячменными усиками. Я не знаю, червонно ли добрая, но дай Бог, чтоб на каждом месте, куда беды сталкивают людей, светил такой человек. Всех жалела, но больше всего тех, кого пожалеть было некому. «Глазная? – худенько, ровно стоит она, прижав трубку к смятому уху. – Это с рентгенотерапии, пришлите Воронова Сашу. – Присылают: пылающая, молочно-кисельная сестра-практикантка вносит годовалый сверточек. И тетя Лиза сразу к нему: – Пришли?.. При-ишли... Мать от него отказалась, от Сашеньки... – роняет мне, – ну, давай разденемся, вот мы какие хорошие, во-от...» Очень, очень хорошие: серый глазик, а вместо второго... дыра. Черно-красная. Удалена опухоль, и теперь облучают. Хотя сами же говорят: еще не было случая, чтобы помогло.

Бедные дети, страдалыцы безвинные, сколько вас прошло вместе с нами, сколько вас проходит сейчас – каждый день, каждый год. Предстоит пройти еще скольким! Никого я не знаю достойнее жизни, чем вы. Никого из тех, без кого не было бы науки, святого искусства, футбола, войн. Но они (больше, меньше) свое прожили, а вы... Кто вообще-то знает про вас? Виноват в этом кто? Родители. Им остается пустота и дубовый крест; им остаются утопанные тропинки на кладбища, платица недоношенные, не долинявшие; им остается и то, о чем сам Александр Сергеевич Пушкин безо всякого права, но, как всегда мудро, изрек: «Воспоминания! Как острый нож оне!» Самое лучшее, что остается им – умереть. Но живут, вынуждены жить во имя собственной жизни, во имя своего страха перед тем, через что проволокли своих детей. Ибо самая неискоренимая наша привычка – жить.

И спрошу вас, а прежде себя самого – чего ради? Разве не ждет нас высшее блаженство – там, где нет боли и преходящей радости, там, где ничего нет, кроме покоя, там, где все есть, потому что ничего уже нет и не надо. Один шаг, а как труден. И когда само уже подведет тебя к краю – как начнешь ты корячиться, изгибаться, отползать. Вместо того, чтоб помочь. А ведь это, пожалуй, единственное, что дано нам вершить в своей жизни.

Встречая первый свой Новый год после тебя, Лерочка, выпил я полстакана водки в котельной, грохнул его об стену с тостом: «Чтобы этот год был моим последним!» Не хотел я жить, просто не мог. Не было виноватых в том, что случилось с тобой, не было. Но в таком мире, где такое возможно, не видел я для себя места. В небо глядел – не видел. В лица, добрые, милые – тоже не видел. В хамские – видеть не мог. В книги, музыку, звезды, спорт – нет, ничего нет. Тебя не было, просто не стало, и смириться с этим не мог. Лишь в одном мог найти справедливость: уйти от всего этого. Начал примериваться. Но придумал я воскрешать тебя, в слове. Да и мама твоя да моя еще живы были.

На другой день толкаем уже знакомую дверь и видим, что *кабинет* сменился, и ячменные усики Елизаветы Петровны по-особенному воинственны.

– Ну, раздевайтесь... – скрипит Динст. Поздороваться он забыл, но зато берет костяной негнушейся лапой тебя за голову и вроде бы треплет по волосам. – Ну, как тебя зовут? – кровельное железо издает такие же нежные звуки. – Ну, пойдем, Лерочка. – Уложив на кушетку, задирает рубашонку на животе, исчерченном синими чернилами Семенова, и вминает властные, крючковато жесткие пальцы. Да так сильно, что ты вскрикиваешь. – Больно-о? – удивля-

ется. – Где тебе больно? – и мнет, мнет, будто не видя, как слезы заполняют глазницы, голубовато пятнают наволочку. Наконец распрямляется и едва ль не брезгливо сбрасывает на живот рубашонку. – Ну, давай, Лиза... – говорит неожиданно тихо, устало и вдруг вскидывается раздраженно: – Что он?.. – смотрит на тубус, но видит Семенова. – Принеси пятнадцать на двадцать.

Приносит – заменяет детское ведро колодезным. Правда, маленьким. Ну, повело, теперь-то он даст, зараза! «Папа, а ты будешь здесь?» – еще дрожащим от слез голосом. «А куда же он денется, твой папа», – умягчает веселая тетя Лиза, пока Динст когтит пальцами тубус, с силой, не сверяясь ни с чертежами коллеги, ни с печенью, привычно вдавливая рас-труб в живот.

– Ой, больно!..

Бессознательно бросаюсь к тебе, но уже тетя Лиза ослабила, незаметно от шефа приподняла. Куда же он, зараза, чуть не к горлу залез, он же все облучит – гляжу я на тубус, вставший слоновьей ногой на живот. Но молчу. Все, кончились наши метания. И говорения. Теперь мы – ваши, вы – пропадите вы пропадом – наши.

– Папа, ты там будешь? – светят глаза из-под лежащих на тебя резин. Как люблю я тебя!

– Лиза... – он берет свой четырежды воскуренный и четырежды смолкший чинарик, сморщась, вздувает от спичинки уголек, цедит: – С трех полей будем. По пять минут.

– Сколько же это будет рад?

– Что – рад, что рад... – забрюзжал, не глядя на меня, жадно затянулся, устало выдохнул: – Сколько надо... А!.. что там раньше, – пренебрежительно махнул в сторону витающего предо мною Семенова и философски уставившись в стену, пробормотал: – Ну, что печень? Печень... ничего ей не будет, вашей печени. Меня другое волнует. И еще: амбулаторно, как *этом*, лечить не буду. Вам надо ложиться. Лиза, я сейчас приду.

– Он всегда такой?

– Он добрый, Аркадий Борисович, его многие не любят. За правду... ну, за то, что он поворчит. Им, конечно, не нравится, что он знает больше их. Он ведь не просто рентгенолог – он и клиницист прекрасный. Сколько при мне было, что он их в галошу сажал. И доцентов, и профессоров. Он ведь организм, как свои пять пальцев, знает. И – добрый... – улыбалась Елизавета Петровна.

Вот уж нет, добросовестный – может быть. Это тоже в наше время – везде – слишком редко: вымирает, затаптывается всеобщим наплевательством, безответственностью.

День, другой давит он тубусом на твои косточки. Снова слезы, сдержанные, обиженные. Как покорна ты, доченька. Гнут, и гнемся. Все же кончилось, ты – моя. Одеваю, идем. «Василий Сергеич!..» – доглядела Семенова, дорогого дружка, потрусила к нему: слово ласковое запало. Признаюсь ему, что остались у *этого*, что не нравится, жесткий, но Семенов непроницаем: цеховая их этика. «Да, по правилам, конечно, надо ложиться, – говорит он, – но я пошел бы уж вам навстречу». Я благодарю и, переполненный своим новым рентгеноиспугом (с трех полей ведь дает), ничего не боюсь услышать и – обычное дело – мне преподносят. Кувалдою промеж глаз: «Я вот на что хотел бы обратить ваше внимание...» – находит Семенов своими близорукими глазами все что угодно, только не мое лицо.

– Следите, не появятся ли у нее боли в ногах, в руках...

– Это что, от рентгена?

– Нет...

– От основной?.. – валится сердце в тошнотную пустоту.

И он добывает: «Да, вот здесь, в плоских костях. И здесь...» – проводит по голени, наклоняясь. Что же они – Зоя, Людмила? Это что... метастазы?! И Динст тоже: руки, ноги у нее не болят?..

– Только вы сами не спрашивайте. Дети, тем более больные... Но если сама скажет, тогда...

Что – тогда?! Это же кости!..

– Это... бывает?

– Да... при таких опухолях. Если бывает, то здесь... – проводит уже по предплечью.

– Но ведь нам сказали, что доброкачественная... – тупо смотрю.

Он глаза свои близзорые вдаль отвел, покашлял, косо стрельнул очками по мне: «При этих – бывает. Но вы не волнуйтесь, это вовсе не обязательно, м-да... Гм!.. извините, мне туда.»

Что же я плел тем, в Москве? Он, Семенов, наверно, жалеет, что проболтался, но иду с ним, в его сторону и прошу у него сигарету, я несу свой обет не курить, но сейчас...

В метро побледнела и вдруг: «Папа, м-м... тошнит...» Выскочили, торопливо свернул из газеты кулек. Но доехали, вышли, побрели парком. Он раздвинулся вширь да вдаль – обирают холодные ветры по листику, день за днем, незаметно, а, посмотришь, голые ветки что-то чертят по блёклому небу и не худо уже ногами перелопачивать латунно-зеленую горьковатую осыпь. Лишь одни тополя еще зябко донашивают свои зеленые балахоны. Лодки выволокли на берег, стащили в штабеля. Вода рябая, и бегут по ней храбрые листики, парусят ладьями варяжскими.

Динст не сразу, но все-таки настоял на своем – снова чалим в приемный покой. Посидите, поставьте градусник. Сколько есть на свете чудесных болезней, от которых можно прекрасно помереть и столь же чудесно воскреснуть. Но спустили нынче с цепи невидимое, безградусное, беззвучное, что тихонько бродит по школам, по детским садам и – надомником тоже. И ни в стужу, ни в слякоть, ни в вёдреный день не уловишь, не разглядишь, как (ведя дитя свое кровное за руку) подойдет Она и безглазо, безносо, безгласо за другую ручонку костляво возьмет. И неслышно пойдет рядом. Шаг в шаг, день в день – до того дня. Ни стуку, ни бряку, ни дыханья могильного.

Нас укладывают в Четвертую госпитальную, где тяжелые дети; где стоят над ней тополя, вязы, где живет бок о бок с сестрицей своей Медициной – Та, Та самая.

И в покои – тогда! – еще нас не пускали. Но водить на рентген и гулять разрешили. Но и только: ни соку гранатового (для крови), ни морковного, ни гриба чайного, что спасает от рентгеновской тошноты, – и не думай. Уж чего там о травах, каких-то настоях: «Что вы, папа Лобанов, все выдумываете! Никаких грибов! От тошноты, если надо будет, мы ей дадим что-нибудь сами...» – и пошла, покатила прочь от меня на своих саксауловых ногах заведующая. Ладно, ладно, обойдем вас, из-под полы выпоем, на лестнице, в каменном закутке, на ветру, на морозе.

– Сашка, знаешь, Жирнов приехал! С тем, Валентином Ивановичем, – звонит вечером Лина. И уже на другой день в вестибюле гостиницы рванулась к мужчине в тяжелом драповом пальто с лацканами пятидесятих годов: – Вот он!..

Он? Гляжу: чужой человек, никогда не видел. А глядел в Москве на него в упор. Сели, заново привыкаем друг к другу, пока Жирнов отсыпается в своем номере. Валентин Иванович озабочен билетами: в кассах нет, даже онкологам.

– Ну, это мы сейчас устроим... – усмехнулась Лина.

– Если можно... – весь в застенчивости. – Так что у вас? Как идет лечение? – выслушал. – Все правильно. Сколько было у нас детей? Тех, которые радикально прооперированы, человек тридцать.

– И все живы?

Как он на меня посмотрел. Руки рабочие, крепкие снял с портфеля, положил на стол и:

– Половина живет.

– А что... метастазы?

– Да. Обычно в кости рук и ног. В плоские кости.

– Значит, это... это злокачественная?

Тут рабочие руки не хуже, чем у Калининой, удивленно и широко разошлись над столом.

– Есть три вида этих нервных опухолей, по степени злокачественности: симпатобластома, нейробластома и симпатогониома. Мы начали применять новый американский препарат винкристин. У нас были две девочки с симпатогониомой, во всех костях. У них были такие боли, что ни сидеть, ни лежать не могли. На крик кричали. И вот одну мы уже выписали. Все исчезло. Но как дальше будет... А вторая тоже поправляется. Так что видите, все бывает. Наша статистика говорит, что, если пройдет полгода после операции, и ничего не будет – это уже пятьдесят процентов успеха, год – семьдесят, два – девяносто, ну, а три – полное выздоровление. Вы следите за руками, ногами. Тогда винкристин надо. Достают как-то... из Америки.

– А те... другие, долго?

– Год. Как правило, через год.

Мы сидим, курим. Я тоже, теперь можно. Изредка – когда стукнут.

– Если у вашей девочки симпатобластома...

– Как – если? Они же сказали? Была гистология...

– Гистологи тоже люди, – улыбнулся устало.

Значит, правильно говорил мне один знакомый онколог: покажите стекла Соколовскому, лучше его нет. Лины тоже нет, говорить не о чем. Вежливо завожу о работе. Да, устали, уже десять дней в Ленинграде. «Так по дому соскучился. Вот, девчонкам купил... – смущенно опускает глаза на коробки. – Как они там без меня?»

Жизнь... Вот, две девочки у него, ты одна у нас и другой никогда уж не будет. И во всем виноват я. Хоть Тамара не скажет, не попрекнет. Нет, мы тоже хотели второго. Это с первым трудно, потом-то уж проще. Все идет по проторенным тропкам. И одежда от первого в дело, игрушки, но куда же второго с кормильцем таким? Да и комната – вторую кроватку втиснуть некуда. Вот и вышло так. По вечным биологическим законам. Птицы, которые не заботятся о потомстве, откладывают много яиц, но чем больше заботы, тем скуперее кладка. Вплоть до обезьян, которые ограничиваются одним. А ведь знали слова Тамариной редакторши: «Нельзя хранить все сокровища в одном месте». Для нее слова, для нас бесполезный урок.

– Ну, все в порядке!... – запыхавшись, влетает Лина-победительница.

– Спасибо, большое спасибо... Как же вам удалось?

– Пустяки... – великодушно отмахивается.

Это верно, для нее не только такое пустяки. И для них бы тоже было пустяком, если бы знали, что служивый человек не устоит перед купюрой. Им не жалко бы переплатить, но они не смогут *подойти* к человеку (на вокзале – к воинской кассе) и продвинуть в окошечко вульгарный червонец. Взятка? Да ну вас – просто за доброе отношение, ну, уж если хотите – за услугу.

Значит, год. Господи, добраться б до полугода, а там...

А там, на Березовой аллее, где филиал онкоинститута, достаю твое стеклышко, которое выпросил у Калининой. «Напрасно, Альсан-Михалыч, напрасно, я понимаю ваши сомнения, это, разумеется, ваше право, но, поверьте мне, мы очень долго все это обсуждали. Была такая большая застольица, и пришли к заключению, что это симпатобластома». Доброкачественная, да? – глядел, но смолчал: прозвучит упреком, а как я могу? Что ей стоило затоптать нас в первый же день – им ведь сразу, еще у стола, ясно стало. Пожалели нас, думали: авось, пронесет. А нет – все равно ничем не поможешь.

Соколовский: очень круглый, очень очкастый. Лицо – простодушный, бледно пропеченный блин, лоб безбрежно теряется в куполе темени. Острые, близоруко выпяченные глаза плавают за дюймовыми стеклами, как рыбы-меченосцы в аквариуме. Просит оставить стекло в лаборатории и зайти за ответом дня через два.

В лаборатории трудятся женщины. Трудятся над ржаными крошками, будто выщипнутыми из буханки хлеба. Что сулит хозяину эта нива? Что – отчетливо вижу в журнале: не латинский СА ставят там, но простое, добротное русское: РАК. И столбцами, сплошь по страницам громоздятся они в небоскребы: рак, рак, рак, рак... полип... Надо же, один вытянул.

– Как фамилия? – останавливает свое перо регистраторша.

– Лобанова.

– Это не вы? – подняла свежее зефирное лицо. – Имя?

– Валерия. – и думаю, сжавшись: сейчас, сейчас ты снова посмотришь!

– Отчество?

– Александровна. – и опять: сейчас, сейчас...

– Возраст?

– Семь.

– Что?! – вскинув на миг, опустила голову, покачала со вздохом.

И вот выдают. Под писарским гладеньким почерком нацарапано враскорячку: «Картина симпатобластомы». Небо, Вазари и вы, остальные, скажите мне, что значит *картина*? Вот он, он, этот самый лучший, ни в чем не уверен?

– Я смотрел... – отдуваясь, откидывается этот человек, такой мягкий, округло любезный, человек, который и мухи, поди, ненароком не придушил, не изломал руганью губ – он решает за тысячи гамлетов: быть им или не быть. – Почему картина?... – взял со стола пачку дешевых сигарет, задымил. – Видите ли, в строении клеток существенной разницы нет. Все эти нервные опухоли плохи тем, что трудно поддаются лечению. И рентгену, и химии. Но... – видимо, все же что-то заметил на лице собеседника, – если радикально, тогда можно надеяться...

На свидание я мог опоздать, на дежурство, но к тебе никогда. Но не самый первый я был – по морозной ноябрьской рани являлся сюда невысокий, худой гражданин. Уже тронутый – осторожно – сединами. И кожан на нем старый, черный, уже с продресью. Кепка плоская, нос рулем, а глазницы глубокие, как воронки с осенней водой – налиты темной печалью. Из краев дальних, благословенных гражданин этот прибыл. Как взойду на лестницу, где напротив раздевалки дежурят три стреноженных стула – так далекий гость этот непременно привстанет, вежливо потеснится, чтоб и мне и портфелю моему выкроить место. А чего там выкраивать, места всем хватит, даже тем, что не думают где-то в это утро ни о чем таком скучном. Не охочи мы с мамой до досужих родительских пересудов: хвастать нечем, а чужое возьмешь – и свое отдай. Потому молчим. Правда, видел: так, за малой нуждой, из Грузии не потянешься. Ну да Бог с ним, у него свое, у нас тоже в коробочке что-то взбрякивает.

День молчал, два молчал, но здороваться начали – как британские пэры, кивком лордовым. «У вас кто здесь? – однажды осторожно придвинулся, покачал головой. – У меня син. – И смолк на минуту: одно горе, одногорцы мы. – Читырнадцать льет». – «Что с ним?» – уже лез я. «Ни знаю... – вздохнул, – опухаль, гаварят. Сухуме лежали... гаварят, Ленинград везите, может, там что сделают. А так кровь хорошая. Ринген делать будут».

Значит, тоже к Динсту: «Поди ко мне в ступу, я тебя пестом приглажу». Выглянула его жена, вышла на лестницу, опасливо обернулась, поздоровалась. Невысокая, полноватая, глаза добрые, даже страдание в них заглажено ласковым светом: «Ничего сегодня, паел... немножка, улибнулся...» – и сама озарилась. Какая же деликатная – вот, по-русски при мне. И теперь, когда и чужому все ясно, начала по-своему, быстро, сурово.

– Папа!.. – рожица моя вдруг сама меж клеенчатых створок выглянула, темноглазая, бледная. – Папа, я гулять... Папа, а знаешь, я здесь уроки делала. – Откинула со лба волосы, важным кивком подтвердила. – И русский, и арифметику. Мне учительница две четверки поставила. Папа, к собачкам!..

Добрые души призрели здесь (для кафедры) разномастную беспородную собачкину мелочишку. Иные (резанные-перерезанные) уж отпущены на покой, дображивают свой век по дорожкам, ютятся в подвале «Нормальной физиологии», другие там же, ждут срока. Одни вольняшки лениво трусят по аллеям, другие мертво заякорены. Одна такая, соловая, с гнединой по хребту, паралично трясется, раскачивается. Когда лысоватый служитель (он же лаборант) Витя выносит кастрюлю с хлёбовом, и другие (по ранжиру, по силе) слизывают, отряхиваются от горячего – эта и ухом туда не ведет. Даже если подталкивают сердобольной ногой посудину к самому носу. Зато лает, не злобно, коклюшно, жалобно и недоуменно. На все и на всех – на студентов, доцентов, ребят, деревья, на весь этот радостный мир.

– Папа, а что она? – испуганно жмешься ко мне.

– Вы не скажете, – спросил Витю, – почему она так?

– А ей мозжечок вырезали.

– Мож... моз... что это, папа? – тихо, с испугом. – Ой, смотри: негр... – провожаешь глазами суданского королевича. – Какой черный, ха-ха, вон еще, ой, сколько их. Откуда они, папа, из Африки? Там жарко, поэтому они так загорели? Смотри, папка, у одного даже борода есть. Пап, скажи мне, а почему ты бородку носишь, меня девочки спрашивают. Зачем тебе борода?

И вспомнились наши первые «бородатые» разговоры. Как ты с гордостью говорила подружке: «У тебя какой папа?» – «Такой». – «А у меня с бо-одкой». Потом посерьезней пошло.

– За эту бородку давали две новгородки да одну ладожанку, – говорю. – Это поговорка такая, старинная. Мама твоя, когда была девочкой, записала. Раньше людей продавали и покупали, новгородки и ладожанки – деньги такие были.

– А меня вы тоже купили? Где?..

– В аптеке, – уже понял, куда клонит.

– Ха-ха!.. – забегала по комнате, совсем как ребенок и совсем как взрослая рассмеялась: – Я знаю, это так маленьким говорят, а меня мама выродила.

Тетя Лиза кричит нам весело, будто приглашает на елку. И вдруг видим: двое с носилками пытаются протиснуться в дверь. Помог им. «Спасибо...» Ох, да ведь это грузин тот, в кожанке, несет сына на рентген. Сколько черного дегтя уже натекло у него в глазницы. Но не он, не он поразил меня – мальчик. Сколько детских лиц прошло предо мной, всяких, у тебя, доченька, тоже милое, ясное, но такого, ей богу, не видел. Худенькое, намученное, приветливое, с доброй тоской глянуло на меня, и тогда же подумал: никогда не забуду. Нугзари... Позже скажет Шошита, его мать: «Он сказал мне сегодня: мама, люди научились убивать друг друга, миллион сразу, а вот вылечить одного...»

Утром на другой день, роняет запышенно на лестнице наша лечащая: «Сегодня трансфузия. Переливание крови...» – перетолмачивает на общечеловеческий. Знаем, знаем: не гулять. Что ж, сиди и кукуй здесь, на лестнице, рядом с бедным Арсеном Гавлая. Гляди, как торопятся парацельсы: как же, сегодня обход профессора Тура. Все белым-бело в этот день, ординаторы, лечащие, студенты снежным обвалом перекатываются от бокса к боксу, из палаты в палату. Все вытягивается по струнке пред маленьким тощим старикашкой. У которого такой тяжелый нос и такие большие пронизательно зимние глаза. Я, понятно, ничтожество и профан, он, понятно, педиатр с мировым именем, отчего же, однако, никто из родителей здесь не видел, чтобы Корифей самолично кого-то прослушал. Может, он телепат? Иль давно уже знает, что так же бессилен, как самый зеленый студент. Я гляжу в эти лица и вижу одно: «Моей судьбою очень никто не озабочен». Никто и ничьей. Лишь одним: чтобы все было подогнано по инструкции – назначения к показаниям. До обеда обход. Так что вы уж, подопытные, гуляйте в крольчатне, в душных закутках, все равно уж теперь не надышетесь. Это только такие, как вон тот, с бороденкой козлиной, повитертый лысач, еще думает. А они, врачи, знают.

Выхожу и на лестнице сталкиваюсь с Люсей и Викой. Девять лет Вике, лежит наверху, прочно, лейкозно. И у матери, круглолицей, румяной глаза (раньше, видно, смешливые) вечно распялены страхом. «Вы гулять?..» – растянул навстречу им губы. Тоже, бедная, дорожит каждым озонистым мигом. «Да...» – со вздохом, к сочувствию не вызывающим.

Кунаками мы стали с Арсеном – обменялись горем. Он курил много. А рассказывал мало. Если мимо нас пролетал врач, мой кунак обрывался на полуслове и, не кланяясь, склонялся пред ангелом светлым. Не заискивающе, но почтительно, благодарно. Всем подряд: не знал никого. Там, в покоях, сидела безвылазная Шошита. Которая дарит улыбки прекрасные, даже плача. Выходила, глаза залиты кровью, но силится, силится ему показать, что получше, да что тут покажешь, кроме освежеванной муки.

На четвертый день вышла, всех ослепила: «Лехчи, лехчи, встал, по коридору, гаварит, пройти хочу. Я пошла с ним. Два раза...» – пальцами показала. То последние были шаги. Почернел Арсен. Еще больше. Стоит на крыльце, будто старый петух; под дождем стоит, не отряхивается, со ступенек не сходит и в больницу не хочет, курит, курит, вспоминает растепленно: «Он футбол играл... лучи всех. Веселый...»

Ну, а я, скотина, завистливо думаю: у тебя, старина, еще три сына. Конечно (мать моя говорила в детстве, когда еще брат не погиб на фронте), какой палец ни порежешь, все больно. Особенно этот, мизинный, любимый. Да ведь у меня, дурака, вся пятерня однопалая.

Завтра они уезжают. Ленинград сделал свое дело, Ленинград может уходить. Мне и вчуже страшно за них: как поедут? «Самалетом...» Нет, вообще – как? Ни с чем. С этим. Что же дальше им делать? «Прыежайте нам Очамчире, гостем будете». Проходит мимо их лечащий – молодой, степенный очкарик, без двух минут кандидат, без столетия врач. Арсен так и не смог сказать мне, чем болен Нугзари. Остановил я тогда как-то этого, спросил. Усмехнулся он – спокойно, решенно, ведь еще там, в Сухуми, биопсия сказала: ретикулосаркома. И сейчас, напутствуя этого обгорелого отца, все же старается как-то поаккуратнее вложить в «очи черные», очамчирные, непонимающие, молящие и надеющиеся, что, мол, все еще может быть. И уже перетаптывается, не знает, как «отвалить», а тот смотрит, смотрит, ждет, и так больно видно, что до него не доходит, не может дойти. Никак! ни за что!

Вот уж кошки, собаки, вороны, три стреноженных стула – и те поняли, только не он. В кожане, большеголовый, с насупленным козырьком кепки. Щеки щетинисто одрябли, стекли по скулам, горбылем выторкнулся нос. «На восьмь килограмм пахудел». Ох, как быстро горе его створжило.

«Прыежайте нам Очамчире...» – еще отдается в ушах, когда в коридоре у Динста вижу двоих. Тоже с Юга. Гражданин лет тринадцати и его дядя, на днях познакомились. Бакинцы. Этот мальчик-мужчина такой же дендиватый, как дядя, совсем взрослый. На обоих отличные костюмы, мясистые кожаные ботинки, европейские пальто, а вот кепки грузинские – «аэродромы». А еще он бледный, подсиненный – племянник, будто от снегов северных, а не с Каспия этот маленький принц. Опухоль кишечника. Динст согласился перед операцией пооблудать, но дядя колеблется, звонит в Баку. «Отэц не хочет». – «Ну, не хочет, как хочет, – буркнул Динст, но долг превыше обиды: – Вы не понимаете, что другого пути нет». – «Я понимаю, но отэц не хочет».

Что мне слушать, отэц не хочет, а я что, дядя? Все, хватит динстовых «рЭнтгенов».

Мальчик сидит в коридоре, безучастный, бледный, спокойный. Кажется, он больше всего озабочен тем, чтобы видели, какой же он комильфо. Интересно, о чем еще думает? Уж наверняка не о том, почему у него такое лицо, а у дяди неизменно вечное, крепкое, загорелое. Не о том, как мало осталось. Но о том, как там девочки и друзья без него. И, если положат, то долго ль протянется эта волынка. И о том, как противно здесь пахнет рентгеном. И как плохо одет этот русский, что так смотрит, смотрит, противный, и таскается со своей девчонкой. Не Нугзари, о, нет, но ведь – мальчик, ребенок, человек.

«Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку занемог...» Теперь, Александр Сергеевич, все наоборот: племянники пошли в ход. И вообще «вам теперь пришлось бы бросить ямб картавый». Вообще все бросить: стишки, женку Ташку и отбыть в казенное имение, на Колыму, дабы понять, что «Во глубине сибирских руд» – это не что иное, как фраза, самая поэтичная, на мой взгляд, фраза, но не больше. И что руда руде рознь.

Дядя оттолкнулся от меня холодным кивком и повел, повел за собой недалекого мученика. Под растревоженное шмелиное жужжание Динста: «Как хотят, как хотят... они думают, ха, они думают... жалко мальчишку...» – бармит и бармит себе под нос.

А в окно видно, как идут по двору двое, большой да маленький. И опять с удивлением, недовольный, что рушится мой устоявшийся взгляд, признаю, что он, Динст, куда лучше тех, наших, на Четвертой госпитальной. Что душа у него есть, хотя и скрипучая. А те двое идут, выбрасывают ноги в такт: раз-раз, раз-раз... В хромоновых остроносых ботинках. В таких же, как в блокаду я видел на первых покойниках, когда их везли на саночках. А холодный осенний свет, как на плоских тарелках, лежит на кепках бакинцев.

– Что вы со мной все торгуетесь? – раздраженно вздувает Динст облачко сизого дыма в ответ на мои просьбы заканчивать облучение. – Вы должны понять: если в первый раз не долечить, потом уже... Пять-пять!.. Кто вам сказал, что уже пять тысяч рентгенов? Сейчас посмотрим... – перелистнул мякинно шероховатые листы, все в отрубях, словно в тараканьих усиках. – Ну, как вы считали? Еще четыре тысячи. Ну, с кусочком!.. А!.. пусть вас это не беспокоит.

Ты прав, прав, старина, нас другое должно уже печь, в самое темя, но еще по-живому каждый сеанс калил красным железом. Знаешь, Лерочка, что вычитала твоя мама про древних римлян: перед казнью центурион Сульпиций Аспер, покушавшийся на Нерона, сказал тирану: «Я не видел иного способа помочь тебе в твоих пороках». Так и мы с мамой.

Он проходит как будто бесследно – рентген, только вялая, бледная, да еще зацветают ожоги – побурел твой бочок, спина и живот. Дальше – больше: уже калеными утюгами пропечатываются динстовы меты.

– Учитесь властвовать собою – держитесь правой стороны, – бормочу по дороге от Динста.

– А почему правой, папа?

Да потому, что на днях ненароком встретили Малышева, который походя обронил о рентгене: «Смотрите, не переусердствуйте». Но все – забираем. «Что ж... – поморщился Динст, – три сеанса осталось, ну, надо бы больше, н-но!.. раз вы так настаиваете. Хорошо, так и быть. А!.. два сеанса можно и амбулаторно сделать», – убеждал Динст Первый Динста Второго. Нет уж, не жди, не придем.

– Лерочка, домой, домой... – шепчу на ухо.

– Ура... – тихо, устало. – А мама где? – и увидела торопящуюся: – Мама!..

– Что, доченька?.. Ну, чего же ты плачешь? – а сама прячет набухлые глаза.

Часть третья

И падает занавес – занавесой дождя. Опустел зал: антракт!.. Самый протяжный. Такой долгий, что и на жизнь временами даже заподажливается. Со всем ее кандибобером. Брызжет сверху не солнце, но люстра, а все-таки светом. Рдеют в сумраке стулья покинутые, рдеют пепельно и багряно, осенне. Меланхолия в лицах покинутых инструментов: меднорожих тарелок, скрипок телесных, женоподобных виолончелей и даже у вздутого барабана. А в проломы вливается гул – отдаленно и водопадно. Мы не слышим, не слышим. А вокруг нас уж рабочее (на копытах, рогатые) тенями (не бренчат, не тревожат) что-то тащат, уносят, волокут да пристраивают. Там, на заднике, дрогнула вдруг, похилилась, начала падать золотая игла Петропавловской крепости. И откуда-то поднялись, замерли вычурные церковные луковки. Это Храм на крови? Наш? Боже мой, да ведь это Василий Блаженный! Почему, откуда он здесь? Но молчат непарнокопытные. Не спеша подлаживают к безмолвному храму ощеренную зубцами стену. Из древнего кирпича. Без пилы, без гвоздя, без живого плотничьего повизгиванья. Мы не спрашиваем, не слышим, не видим – трое нас, кого еще надо?

Вечер, тихо, ты спишь после ванной. «Смотри, сегодня поела, – говорит Тамара. – Ну, хоть столько. И не тошнит. Господи, если бы все наладилось... – испуганно смолкла. – Вот окрепнет немножко и надо бы в школу. Что там у нас с деньгами? Хоть бы мелкие долги раскидать».

Годом позже скажет твоя мама, уже не тебе: «Что меня больше всего поражало в первое время после родильного дома – это дыхание. Новое, которого не было». И сама ты иной раз любила спрашивать, как мы жили до тебя. «Ну, папка, скажи». – «Не так, хуже». – «А почему хуже?» Я могу теперь тебе, доченька, точно ответить. Живу, как Бог: и не живу, и не умираю.

Новый год надвигался на всех високосно, но прошел лишь по избранным. За что пьют миллионы в новогоднюю ночь? Что слышится людям в звоне бокалов? Всегда одно и то же: только лучшее. Редко кто скажет: чтобы не было хуже. Годы, годы... Что знаем о них? То, что будут, и только. Для кого? И какие? Но не многим больше, чем о будущих, знаем мы и о прошлых годах. Были, нет – списаны. И чем дальше, глубже – столетия слеживаются для живущих в какой-нибудь день, в уголь. А сверкали алмазом. И добро, коль холера, чума прошли по земле, прореживая Европу – тогда ненароком, перед эпидемией гриппа какой-нибудь медпросветитель вытащит на свет этот год. Иль родится какой-то там Ньютон, вот тогда тоже колышек вбит: чтобы память привязывали коровой, пусть жует вечнозеленую благодарность потомков.

Ну, а те, что не бонапарты, не геростраты и не бетховены – где они? кто они? как же жили они? Лучше всех воздал им Иван Грозный. Этот прямо, не обинуясь, походя обронил о загубленных им псковитянах: «Имена же их, ты, Господи, веши». Ты одна, Вселенская Борода, верховный Статистик, знаешь, должен знать. Ведь они были! Такие же, как мы с вами. Только мы – сущие, только нам кажется, будто наш прыщик важнее их головы. И тогда тоже все было непросто. Жить, кормиться, любить, помирать. Но втолкли в землю и не только забыли – откатали им в разуме, в чувствах, терзаниях. Забывать надо, невозможно, нельзя жить в изобилии прошлого. Так должно быть. Но хотя бы изредка мы должны помнить, что о нас тоже скажут так же, тем же помянут: имена же их ты, Господи, знаешь. Тем-то и горда литература, что хранит нам живое, не дает смыть, унести его мертвым водам недаром придуманной Леты.

Нет, не зря поднимали мы бокалы за шестьдесят шестой год – к лету все же вытащили лотерейный билетик: двухкомнатную квартиру. Десять лет исправно тянули, наконец-то сподобились. Было голо там, гулко на первых порах после привычной коммунальщины. Странно было никого не услышать на кухне, не постоять в очереди пред умывальником или общей для

всех дверью. Но самым неожиданным был телефон, который нам поставили месяца два спустя. Помнишь, как радовались, когда несли с телефонного узла картонную коробочку с аппаратом. С удивлением мысленно перешушывал я буквы незнакомого нашего номера. Перешушывал с горечью: ох, не в добрый час входил он к нам в дом – наша мама томилась в больнице. Ну, пришел туда и понуро сообщил, что на днях подключат. Я бы принял (будь на ее месте) мертво: не меня, наверно, порадует, а она осветилась вся, будто занесено не над ней, будто не она о тебе думала – не останешься ли ты сиротой.

– Папа, а почему мама нам не звонит? – спросила, когда вернулись с аппаратом домой. Он стоял на полу среди опешившей толпы допотопных, чужеродных здесь мебели и молча, десятиглазо взирал на них: ну и ну, вот попал! – Папа, а почему мама в больнице?

– Болеет.

– Поболеет-поболеет и умрет? – мимоходом, лучезарно взглянула.

Мы встречаем новогодний праздник втроем и впервые в гостях – у Льва Горлова, моего школьного друга. Там квартира трехкомнатная, и хозяин, чтобы залучить нас, отдает нам свой спальный кабинет. Гости – все свои, чуть разбавленные доцентами с горловской кафедры. Он встречает приветливо и осанисто. У спесивого, говорят, кол в горле. Кол-то есть, да вот спеси нисколько. Стол трубит и сзывает.

– Лерочка, ты пить будешь? – шучу.

– Да... – растерялась, не верит. – А вино можно? А какого вина, папа, водки, да? А там что красное? Морс? Хочу... вкусно...

– Ну, Саш-ша, Саша... – хозяин уже стоит, расплескивает из рюмки. – Товарищи, па-прашу внимания!.. – в этом весь, умница: обязательно приправит усмешкой. И над кем-нибудь, но допрежь всего над собой. – Как говорят господа экономисты... – ядовито нажал на свою профессию, – прибавочная стоимость на столе, поэтому я хочу пригласить вас выпить за тех, которые пр-рошли через все преграды и которые, если и не поумнели, то, по крайней мере, еще думают, что они умные. За ветер-ранов!! – захохотал, первым опрокинул, первым и закусил.

Много лет, бывая у Горлова, гляжу на него, на себя, на общих знакомых, и опять приходит затаканное: река нашей жизни. Летом в котельной, когда пропотелая ртуть лезет вверх, отворяю я великие водопроводные струи. И бежит по кирпичным да кремовым плиткам стеклянная гладь. Можно босо прошлепать по ней, можно кинуть сгоревшую спичку, только лечь в нее, искупаться нельзя. И бывало, глядел я на спички. Одних на волнишках покачивает, прямо выносит к трапу (сточному люку), других водит по какому-то незримому кругу. Медленно тащит к фарватеру, вот сейчас подхватит, потащит на стрежень. Но какая-то тайная сила оттирает эти, непонятно кем и чем меченые ладьи, вновь и вновь заводит их под черное брюхо цистерны с горячей водой, вновь и вновь свершают они свой окольный бессмысленный путь.

На своем веку сколько видел я аспирантов, протиравших штаны на тех же стульях в публичке. И, строча свое, поглядывал иногда снисходительно на казуистов, начетчиков. По-сорочьи гомонили они надо мной, и смешон мне был их ненужный птичий язык: я-то думал, что веду речь для людей, о насущном, о вечном. Но они, они несли на своих жестяных крыльях и время, и правду преуспевания. Повитав в изморозных высях, опускались на те же угретые стулья. Не сороками – орланами черноклювыми. Гордо, с клетотом косили янтарным глазом на таких, как я – на сурковую, полевую мышь.

И припомнилась странная прошлогодняя ночь. Только к часу ночи уложили тебя, но не спится, никак. Август сонно, нехотя скатывал цветные ковры разнотравья; все наелось, насытилось летом, и оно само миновало свою макушку, незаметно съезжало в осень. Неприятность, неодолимость – они всегда рядом, вечно. Незаметна, неодолима череда времен: и мы так же проходим свои рубежи, ветшаем, стареем. И, наверно, все чувствуют не только промелькнувшую скоротечность жизни, но и долгий ее, тяжелый ход. Незаметно, но раньше темнело; подсиненные ночи все гуще, чернильнее расплывались по светлому небу; вечерами уже

познабливало листву, остуженно высветлялись лиловые дали. Два окна, торцевых, сквознячных, глядели друг на друга на нашей чердачной мансарде, да никак не мог теплый вежливый ветерок протолкнуться, шевелил занавески, соскальзывал, обессиленно падал вдоль них на пол. А теперь вздувались, парусами рвались навстречу друг другу, и утрами вливался свежий, настоенный на медвяных травах воздух. Уж не сразу ты засыпала, за день много наслаивалось. И однажды лишь в четвертом часу засопела чуть слышно. И задумался я тогда: отчего же? Это что же, первый звоночек нам был?

Возвращаясь из школы, прошу тебя: «Лерочка, ветер, закрой рот». – «У меня насморк!..» – «А ну подыши...» – «На, на!..» Да, заложена левая. А так сухо. Насморк? Странный какой-то. Вечером, когда спишь, захожу проверить. Прижимаю ноздрю, правую, может, ту, левую, продышишь во сне, может, днем тебе просто лень, надоело, устала от вечных этих будто бы незаметных наших испуггов. Но уводишь голову вбок – вздохнуть, даже ртом хватаешь. Что за черт, по себе знаю: если заложит одну, и она окажется сверху, когда ляжешь, перетечет в нижнюю.

Все, заканчивается антракт. На подмогу оркестру волокут второй барабан. Это что? Ничего – Чайковский говорит о Бетховене, о пятой симфонии: тук-тук-тук... стук судьбы.

Март, Лерочка, март, припекающий, зябкий, синеглазый, солнечный – самый любимый мамин месяц, начало его. Двор зернисто шершав, сух. Вчера родился месяц-молодик, понестился среди звезд, упал за дома. Утром хлопают двери, и вприпрыжку, впритопку катятся школьники. В этот час и вы с мамой спешили в школу. Как упрямо не желала сдаваться, заставляла делать зарядку, вставать вовремя. Завтрак вкусный готовила, поторапливала: Лера, мойся, ешь. А тебе уж не елось, не делалось – недужилось кисло, подспудно. Но теперь, теперь, доченька, уж никто не неволит тебя – даже прелестные гиацинты, что стоят пред тобой, овевают, сами просят потрогать, вдохнуть горьковатую свежесть. Принесла их мама вчера тебе с рынка: «Сколько цветов на Кузнечном. Розы, нарциссы, фиалки, мимозы, каллы. Я взяла эти... – задумалась. – Из-за травки вот этой... Недорого... Там грузины нахальные, а этот очень милый попался. На Арсена похож. Говорит: это их родная травка...»

Весна. Нам о даче не грех бы подумать. Наши планы становятся известными агентуре: Лина резко кладет на норд-вест. Ей, вытапливающей свой сальник на сочинском пляже, вдруг не надобно ни Черное море, ни карты, ни чумацкий шлях, именуемый пляжем, ей подайте «дехевню». И – совсем непонятно – Толю, мужа ее, тоже тянет на север. Ух, вот это был муж! Кто б из карточных женщин ни увидел его, падал сраженно. Красавец – хоть в кино, хоть на витрину. Но чего-то тянуло погребным холодком от этих «правильных черт». Не хочу с Толей, не хочу с Линой, но приходится, не откажешь.

И поехали мы «снимать дачу». Ничего мы не выходили, лишь одна недостроенная баинка предложила близ озера себя за две сотни: «Здесь будет пол, здесь сени, – круглолицый крепыш-хозяин втолковывал нам, расхаживая по шлаковой засыпке. «Байню делаем, сын у меня спортсмен, так он из Швеции привез финскую электрическую байню, сауна называется. На один год сдать хотим, чтобы раскрутиться». – «А там жить можно?» – задрала Лина голову на чердак. «Везде можно. И в тюрьме люди живут, – усмехнулся хозяин. – А жары вы не бойтесь, крыша шиферная, она не притянет».

С Финляндского позвонил. «Как нос?» – будто бы невзначай спросил. «Так же. Ну, папочка, приезжай, у нас обед вкусный. Лера поела, сейчас уроки готовит».

Эти уроки, доченька, и ныне у нас на стене. Взяла ты тогда бумагу, нарисовала большие буквы: ЖИ-ШИ, ЧУ-ШУ, ША-ЩА. «Папа, смотри, это я сделала. И это я тоже», – показываешь на человечьи фигурки. Вырезала их, кнопками пришила к стене. Гербарий твой антропологический, доченька: это, видно, те люди, которых бы ты на своем пути встретила. Кто они? Кем бы для тебя обернулись? И еще на книжном шкафу лежит пожелтевший листочек – любовное твое письмецо.

Был тогда в детском саду шустрый стригунок по прозвищу Коля, и начал он тебя отличать. «Мама, а почему они нас зовут тили-тили-тесто, жених и невеста?» – однажды сердито спросила. «Потому что вы дружите». – «А что такое невеста?» Объяснила мама, как смогла. И тогда, не сказавши худого слова, решительно подбежала к столу, взяла карандаш, зеленый, листок в клетку, начала очень твердыми, аккуратными палочками сочинять первое и последнее любовное послание. Как стихи, столбиком, ставила, не соблюдая переносов и вольготно задом наперед переворачивая буквы:

коля ты нед
умай што
R теб енивеста
R тебе праства
я девачка лера.

Что подумал вышеозначенный Коля, получив такой меморандум, неизвестно, но на другой день последовал телефонный звонок. Вызывал он. Разговор как будто закручивался сурьезный, потому что «прастая девочка» вдруг стукнула трубку рядом с аппаратом на стол, побежала.

- Доченька, ты куда? В уборную?
- Да... – удивленно остановилась. – А как ты догадался? Папа, а что такое тонкие черты лица?
- Красивые.
- А у меня тонкие?
- У тебя?.. Нет, нос нашлепкой. И губы не *тонкие*.
- Правда? – весело обтрогала их.
- Правда, но черты, может, будут еще и тонкие.
- А когда?
- Лет в семнадцать.
- У-у, как долго...
- А разве ты хочешь быть красивой?
- Да!..
- Зачем?
- Чтобы любили!..
- Кто?
- Ты!.. ха-ха-ха!.. – убежала в жутком смущении.

Ах, Коля, Коля, нехороший вы человек, из-за вас и я теперь буду думать, сколько женственного было бы в моей простой девочке. Сколько искрилось в ней. Но «которая искра не упала, та и не ожгла», Коля, погасла.

Поздно вечером проверял, слушал: ноздря заложена. Крепко, насуху. Не может простой насморк так странно гнездиться в одной ноздре. Да и насморка нет – просто не дышит. Тамара, что поначалу отмахивалась от моей мнительности, тоже мрачно смотрит по вечерам, как ты спишь, приоткрыв рот. И как в тот, в первый раз, мы назавтра вдруг решаемся в поликлинику, к ларингологу. Вновь ведет тебя мама, возвращается: «Нос забит, а так ничего нет». Нет? Отчего ж и вторая ноздря почти что не дышит? И созваниваемся уж с онкологами. «Ну, смотрели они так и эдак – Нина Акимовна... – рассказывает Тамара про доцентшу, эффектную женщину с прохладным красивым лицом, которой представила нас Калинина. Это там же, на Чайковского, наверху. – Сказала, что гайморит. Нафтизин выписала, капли такие. И ментол».

Без толку. И опять вы едете в *наш* Педиатрический институт. Там профессор Гробштейн, от одной лишь фамилии которого взмывает душа, спрашивает: «Она у вас не могла что-нибудь проглотить? Пуговицу?.. – любезно уточняет профессор. – Ты ничего не глотала?..» – «Нет...» – тебе даже немножко смешно. А чего смешного, ведь уже побывали вы с мамой и в ЛОРНИИ, видели, что глотают люди: вилки, ложки, гвозди и прочие железоскобяные изделия. Ох, Лерочка, почему ты не шпагоглотатель? Сейчас бы они вытащили рапиру д'Артаньяна, и все стало бы хорошо.

И опять в ЛОРНИИ – снова снимки там с тебя шлепают, всовывают их в черный конверт, вручают, чтоб нести вам самим на Чайковского. «Аденоиды!.. – наконец-то решительно говорит Нина Акимовна. – Я могу это хоть сейчас вырвать». Аденоиды... оказывается, пятнадцать процентов из нас, грешных, владеют этой недвижимостью и даже не знают, что такие богатые.

Как тревожно, тягостно в нашем доме. Так в театрах, в кино реостаты неумолимо давят свет. Так встает над краем земли черно-синяя туча и находит безмолвно, в безветрии. Две недели назад еще верилось: пронесет стороной. Но ползет, нахлобучилось мгристо на солнце, стелет ближе, наслаивает рваные, серые, темно-бурые. Незаметно уж смерклось. Чернота, что пугала на горизонте при солнце, стала привычной – она над тобой. И глядишь с удивлением туда, где цветет, удвигается от тебя голубой, безмятежный закраешек неба. И по-новому тешишь себя: это раньше, под куполом ясного дня, казалось, что страшно. Но рвануло, пробежало черно-белым дрожаньем по листьям, зароптало да стихло в недвижимом и ждущем. Кап... кап... – несмело упало в мягкую пыль, опажнуло ею взбудораженно, душно. Проворчало что-то вдали в черно-буром кабаньем брюхе, и блеснуло клыками – будто дернуло веки. Ветер резким рывком оголил тополихам подолы, бухнуло, врезалось: трах-ба-бах!.. Далеко. Но уже. Не уйдет. Оглянись напоследок, видишь, там золотится светлый обмылочек. Над чьими-то жизнями.

Мы глядим с Тamarой друг другу в глаза, хотим утвердиться в том, чему научили врачи, и не верим уже ни себе, ни им. Предугадки мои и раньше кишели, копошились выгребными червями в душе, но теперь выползала, превращаясь в навозную муху, мысль. С лапками да с нелетными пока еще крылышками, вот-вот взлетит и отложит яичко.

Каждый вечер, мучая тебя, мучается мама (нафтизин, ментол, перекись водорода), но пока не пришла пора процедур – тихий ангел витает над вами. Вы вдвоем на диване, под пледом, читаете книгу дедушки Дурова «Мои звери». Это мамина, детская. Пожевало ее маленько время, местами обгрызло, но читать можно. «Шут-сатирик Владимир Дуров», – аттестует его в предисловии некто Алтаев. Ну и ну, попробуй сегодня сказать такое о ком-нибудь из натуральных шутов. Не читанный с далекого-предалекого детства, не переизданный, жил великий дрессировщик на наших антресолях в нехитрых, грустных житиях своих зверушек. Жил и жить будет наперекор нерадивым, подневольным издателям, ибо была у него такая душа, которую не остудит и время.

Было в коробе доброго дедушки Дурова припрятано кое-что и про наш сегодняшний день.

– «От матери... – читала Тамара, – Запятайка унаследовала многие из ее замечательных способностей. Кроме того, что она была очень недурным математиком, она могла бы поспорить с любым школьником, когда с глубокомысленным видом указывала на моря».

– Мама, а как это она указывала? Бегала к морю?

– Нет, глупенькая, есть глобусы, карты.

– Я знаю, я видела.

– В пятом классе будете проходить.

– У, как долго.

Вот сейчас, в семьдесят втором, ты кончала бы тот самый пятый. «Мама, а мы поедем на море?» – «Поедем... – глянула на меня, вновь взяла книжку. – Вот поправишься и поедем. «В Рязани, куда я приехал...»

Лерочка, еще есть время, давай на минутку прервемся. Я надеюсь, что когда-нибудь все же найдутся и на нашей разумной земле разумные люди и переиздадут эту книгу. И тогда дети твоих сверстников (или их внуки) сами прочтут эту полную любви, доброты и поэтому вечную книгу. Но о том, что хочу вспомнить, уж никто не расскажет. Помнишь ли ты Большую Ижору, дачу шестьдесят четвертого года?

В то лето, вытряхнувшись за два предыдущих, вняли мы наконец-то здравому смыслу и поехали не в захламленные дачниками места, а подальше, в Лебяжье. От одного названия этого сладостно холодела душа – должно быть, пруды с лебедями, беломраморные особняки, сосновые кущи. Но ведь сказано было в скороговорке: «Саша шел по шоссе и сосал сушки»: ни черта не было. Уж совсем отчаялся он, когда отыскал за семь гривен верандочку. Наняли на другой день ЗИМ-такси (тогда еще были такие), и всем табором двинулись через весь город. Прибыли, разобрали тюки, задернули марлей окна и... увидели, что папаша впервые дал маху: как жить на веранде, если ни прихожей, ни кухоньки нет? Правда, готовить можно и на крыльце, но там задувные прибрежные ветры. В комнате? Но разве для того едут на дачу, чтобы вдыхать керосиновый смрад? В общем, утречком (благо хозяева ушли на работу) утоптали мы дезертирно наши жечи, сели на попутный грузовик и вернулись в Большую Ижору, через которую так высокомерно проскочили вчера к лебедям. Сгрузились на развилке, поцыгански расселись. Одна шоссейка ведет в Эстонию.

Полдня, стоя на обочине, безуспешно голосовал этот папочка. На что он, безмозглый, рассчитывал, непонятно: ведь это не Разлив, это полтора верст от города, и места, заезженные богатыми дядями. Хорошо, что Тамара разговорилась с какой-то женщиной, и та присоветовала невдалеке домишко, дешевый, шестьдесят рублей за все лето. И корова есть. «Сходи, мне понравилось. Только дочка у нее больная. Полиомиелит, что ли?» Полиомиелит от молока, от коровы? Значит... Но домишко славный, хозяйка еще лучше, обо всем столковались, осталось одно и приступить к нему труднее всего.

– Анна Петровна... простите, я понимаю, вы мать, но ведь и мы тоже... – начал мяться из такой дали, что она сразу же все поняла.

– Как хотите... – тень нашла на лицо, – только девочка не от этого больна. Это у нее от рождения. Она у меня смиренная, так что не бойтесь, – читала во мне, как в книге: думал и о том, что по неведенью да силе (пятнадцать лет) может что-нибудь сделать. – А так, конечно, – вздохнула привычно, – что дите малое: обряда за собой не знает. Вот и кручусь с ей, не работаю. Корову вот завела... – Еле сдерживала прыгающие губы.

Простите нас, Анна Петровна, за лишнюю боль, будто мало вам было своего. И как же вы там сейчас – все эти долгие, долгие годы? Как оставить, на кого в этом мире такую девочку?

...Осенью, в середине девяностых годов, попросили меня знакомые помочь им вывезти с дачи нехитрый урожай. Из тех же краев. И тотчас же всплыло. Миновав переезд, я заранее знал, что увижу. Тот же дом в низинке невдалеке от железнодорожной насыпи, тот же дворик и... та же девочка Таня шла мне навстречу. Та же, та же, только уже как старушка. «Здравствуй, Танечка... Таня... Мама дома?» Но никак, ничего не понять из ее речи. И бреду я туда, к дому, а там... Да, все живы – он, она. Но, боже, какие седые. Только румяные и глаза ясные, но такие осенние. Говорю им, что жили мы летом шестьдесят четвертого. Смотрят очень приветливо, селятся вспомнить, улыбаются виновато, но – никак. И бреду, попрощавшись, к машине.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.